Герман Гессе

ПОД КОЛЁСАМИ



aegitas

Под колёсами
Герман Гессе

Аннотация
Игра в бисер. Герман Гессе
Об авторе
Всеволод Михайлович Розанов
Поделитесь своими мыслями и впечатлениями о книге
Отзывы читателей
Вступительное слово «Герман Гессе и его ранняя повесть „Под колёсами“»
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Поделитесь своими мыслями и впечатлениями о книге

Аннотация

«Под колёсами» Германа Гессе – это глубокая и пронзительная повесть, неизменно входящая в списки лучших произведений немецкой литературы начала XX века.

В центре сюжета – одарённый мальчик Ханс Гибенрат, воспитанник элитной семинарии в Маульбронне. С раннего детства он подчинён строгой системе образования: постоянная зубрёжка, давление родителей и учителей, ожидания общества. Ханс успешно сдаёт экзамены, но за академическими успехами теряет себя как личность. Его дружба с Германом Хайльнером, мальчиком с независимым характером, становится единственным светлым пятном в жизни героя, но и она не спасает его от одиночества и внутреннего кризиса.

Гессе мастерски показывает, как бездушная система воспитания способна «раздавить» человека, лишить его радости жизни, индивидуальности, способности мечтать и чувствовать. В повести звучит острая критика узкоакадемической направленности

образования, которая, по мнению автора, превращает детей в винтики огромного механизма, не оставляя им шанса на гармоничное развитие. В основе книги лежат автобиографические мотивы: сам Гессе в юности прошёл через подобные испытания, что придаёт повествованию особую искренность и достоверность.

После исключения из семинарии из-за нервного истощения и подозрений на умственное расстройство, Ханс возвращается в родную деревню. Попытки найти себя в ремесле, наладить отношения с окружающими оказываются тщетными – всё детство было отдано учёбе, и теперь герой не может вписаться в жизнь. Финал повести трагичен: Ханс гибнет при загадочных обстоятельствах, которые многие исследователи трактуют как самоубийство, вызванное внутренней опустошённостью и невозможностью справиться с давлением системы.

Книга «Под колёсами» актуальна и сегодня, когда вопросы школьного давления, психического здоровья подростков, поиска себя и смысла жизни волнуют миллионы семей. Она будет полезна не только любителям

классической литературы, но и родителям, педагогам, психологам, всем, кто задумывается о судьбах одарённых детей и опасностях чрезмерных ожиданий общества.

Гессе призывает читателя задуматься: что важнее – внешние успехи или внутренний мир? Как не потерять себя в гонке за одобрением окружающих? Повесть наполнена тонкой психологией, сочувствием к герою и верой в ценность индивидуальности. «Под колёсами» – это не только трагическая история, но и предупреждение, актуальное для каждого поколения.

Эта книга обязательно заставит вас задуматься и, возможно, пересмотреть своё отношение к образованию и воспитанию.

Игра в бисер
Герман Гессе

Об авторе



Герман Гессе (1877–1962) — один из самых зна-

чительных немецкоязычных писателей XX века, чьё творчество оказало огромное влияние на мировую литературу. Его произведения, пронизанные философскими поисками, религиозными мотивами и глубоким психологизмом, актуальны и по сей день. Жизнь Гессе была непростой, и его собственный путь духовного поиска отразился в его книгах, сделав их близки миллионам читателей.

Родился Гессе 2 июля 1877 года в Кальве под Штутгартом в семье миссионера. Детство писателя было омрачено сложными отношениями с родителями, что сильно повлияло на его дальнейшую жизнь и творчество. Строгая религиозная атмосфера дома, с одной стороны, сформировала его интерес к духовности, с другой — способствовала раннему бунту против общественных норм и условностей.

Начиная с 1899 года, Гессе активно публикуется. Его ранние романы, такие как «Петер Каменцинд» (1904) и «Под колесом» (1906), отражают критику буржуазного общества и темы отчуждения и поиска индивидуальности. «Под колесом» — яркий пример его противостояния жестокой системе образования, подавляющей индивидуальность и творческий потенциал.

Переломным моментом в жизни Гессе стало увлечение восточной философией и религией. Это существенно повлияло на его последующее творчество. Его поиски духовности нашли отражение в романе «Сиддхартха» (1922), где он описывает путь главного героя к просветлению, используя мотивы буддизма. Этот роман, ставший одним из самых известных его произведений, демонстрирует интерес Гессе к духовным практикам и символизму.

В романе «Степной волк» (1927) Гессе показывает борьбу человека с собственной темной стороной, со своими демонами. Это глубоко психологическое произведение исследует темы одиночества, смысла жизни и самопознания.

Последние годы жизни Гессе провел в Швейцарии, где и умер 9 августа 1962 года. Его литературное наследие остается актуальным и востребованным, потому что его произведения затрагивают вечные вопросы бытия, поиска смысла жизни и гармонии внутри себя и с окружающим миром. Гессе — писатель, чьи книги помогают читателям задуматься о своем месте в мире и о важности духовного развития.

Всеволод Михайлович Розанов



Всеволод Михайлович Розанов (1915–1985) родился в семье писателя и педагога Михаила Григорьевича Розанова (псевдоним Николай Огнев). Учился в Литинституте (1937–1941). Во время войны был переводчиком и инструктором-литератором Политуправления Карельского фронта, где подружился с Борисом Заходером, оба были награждены медалью «За боевые заслуги» за организованное перемещение детей в бомбоубежища. В 1945–1949 главный редактор Берлинского радио. «Штатный» советский переводчик произведений Германа Гессе, Томаса Манна, Бертольда Брехта, Франца Верфеля и др. Один из первых переводчиков, взявшихся за «Сагу о Нибелунгах» (рукопись утеряна после смерти).

Одним из самых значимых переводов Розанова является работа над романом «Сорок дней Муса-Дага» Франца Верфеля. Этот роман рассказывает историю армянского народа, который в годы Первой мировой войны оказал сопротивление турецким войскам на горе Муса-Даг. Перевод этой книги был выполнен Розановым с особой тщательностью и вниманием к историческим деталям. Он сумел передать всю трагедию и героизм армянского народа, что сделало книгу

доступной для русскоязычного читателя.

Работа над «Сорока днями Муса-Дага» стала важной вехой в карьере Розанова. Она показала его способность справляться с сложными темами и передавать их на русский язык так, чтобы они были понятны и близки российскому читателю. Благодаря этому переводу, книга получила широкую известность в России и стала одной из любимых у читателей.

Больше всего любил переводить детские книги, выход которых праздновался вместе с Борисом Заходером прогулками по Птичьему рынку и выездами на рыбалку. Переводы Розанова хороши тем, что их интересно читать как глазами, так и вслух и детям, и взрослым: «…сценарий для спектакля писать не нужно», как говорила его первая супруга автор и исполнитель коротких рассказов Елизавета Ауэрбах.

Всеволод Михайлович Розанов оставил после себя огромное наследие в виде многочисленных переводов и учеников, которые продолжают его дело. Его имя навсегда останется в истории российской литературы как одного из лучших переводчиков своего времени.

Поделитесь своими мыслями и впечатлениями о книге

Благодарим вас за покупку и прочтение *«Под колёсами»*. Мы очень признательны и надеемся, что вы нашли в ней что-то ценное. Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или семьёй и оставьте отзыв в интернете. Мы всегда будем рады вашим отзывам и поддержке и сможем продолжать заниматься любимым делом.

Оставить отзыв довольно просто, это не займет много времени.

Отзывы читателей

От ScholarReader

«Под колёсами» — это глубокая и трогательная повесть о судьбе одарённого мальчика Ханса Гибенрата, которого безжалостная система образования ломает и душит. Гессе мастерски показывает, как давление учёбы и ожидания родителей могут уничтожить личность и волю к жизни. История Ханса — предупреждение о том, к чему приводит гонка за успехом любой ценой. Книга заставляет задуматься о настоящих ценностях и о том, как важно сохранить себя в мире требований и правил.

От Anna LitLover

Герман Гессе в «Под колёсами» очень тонко раскрывает внутренний мир подростка, который пытается соответствовать чужим ожиданиям и при этом теряет себя. История Ханса — это не просто рассказ о школьных трудностях, а трагедия души, которая не выдержала давления. Особенно сильным кажется контраст между мечтами героя

и суровой реальностью, где нет места для радости и свободы. Очень рекомендую всем, кто интересуется психологией и проблемами образования.

От BookishSoul

Повесть «Под колёсами» оставила сильное впечатление своей искренностью и глубиной. Ханс Гибенрат — символ многих молодых людей, которых ломает система, заставляющая забыть о своих желаниях и чувствах. Гессе показывает, как важно не потерять себя, несмотря на давление общества и семьи. Финал книги очень трогательный и заставляет задуматься о том, как мы относимся к детям и их мечтам. Книга актуальна и сегодня, особенно для родителей и педагогов.

От Viktor_89

Читая «Под колёсами», ощущаешь всю тяжесть и бессмысленность борьбы Ханса за признание и успех. Герман Гессе прекрасно передал атмосферу жесткой и бездушной системы образования, которая превращает детей в исполнителей, а не личностей. История Ханса — это трагедия, которая могла случиться с каждым. Книга заставляет задуматься о том, как важно поддерживать детей

и не давить на них чрезмерными требованиями. Очень сильное и нужное произведение.

От Елена Ридс

«Под колёсами» — это не просто книга, а настоящее предупреждение о том, как легко можно потерять себя в гонке за успехом и одобрением. Ханс Гибенрат — герой, чья судьба трогает до глубины души. Гессе показывает, что образование без души и поддержки разрушает не только мечты, но и жизнь. Очень рекомендую прочесть всем, кто сталкивается с вопросами воспитания и образования, а также тем, кто хочет понять внутренний мир подростка.

Вступительное слово «Герман Гессе и его ранняя повесть „Под колёсами“»

Герман Гессе — один из крупнейших немецких писателей XX века, родился за двадцать три года, до начала нашего столетия. За свою долгую жизнь он; был очевидцем двух кровавых, мировых войн, невиданных социальных коллизий и потрясений. Тем не менее буржуазная критика склонна представлять его путь как безоблачную идиллию, а его самого как человека, равнодушно внимающего добру и злу…

На первый взгляд жизнь Гессе действительно может показаться весьма безоблачной. Еще в самом начале века к Гессе приходит известность. В 1912 году он покидает свою родину Германию и окончательно переселяется в тихую мирную Швейцарию. Ромен Роллан, Томас Манн и другие выдающиеся деятели становятся его друзьями. В Германии почти нет такой литературной премии, которую не получил бы Гессе: его награждают премией Теодора Фонтане, премией Гете, Вильгельма Раабе, премией Западногерманских

книгоиздательств; в 1946 году он становится Лауреатом Нобелевской премии. Произведения Гессе переводятся на многие языки. Читатели славят его как соловья германских рощ, превознося его талант, великолепный стиль, его умение видеть поэзию в самых обыденных вещах, влюбленность его в родную землю — в пышную лесную зелень, в тихие речные заводи, в островерхие крыши старинных построек. Критика заранее предопределяет место Германа Гессе в истории литературы. Гессе для нее — нечто вроде немецкого варианта швейцарского классика Готфрида Келлера.

Однако в действительности жизнь Германа Гессе отнюдь не является идиллией. Она полна драматизма и насыщена напряженной борьбой. На протяжении полувека Гессе выступает не только как апологет прекрасного, не только как певец природы, но и как противник социальных уродств, как самоотверженный борец за мир и социальный прогресс Его перо служит добру, и он всегда подымает свой голос, чтобы заклеймить реакцию и мракобесие.

В 1907–1912 годах Гессе совместно с другим немецким писателем, Тома, издавал журнал «Март», в котором разоблачал прусскую военщи-

ну. Во время первой мировой войны он оказался в славной плеяде тех европейских интеллигентов, которые сумели донести свой человеческий голос, сквозь шовинистический вой и визг буржуа, приветствовавших развязывание всемирной бойни. Сразу же после начала войны Гессе поместил в швейцарской газете «Нейе Цюрхер Цейтунг» статью, в которой призвал интеллигенцию не забывать идей гуманизма и бороться против идеологии человеконенавистничества. После этой статьи германская реакция не замедлила предать писателя анафеме, как изменника и недруга «фатерланда».

На всем протяжении войны и в первые послевоенные годы Гессе активно сотрудничает в демократической печати, в том числе в широко известном сатирическом журнале «Симплициссимус», Гессе один из тех буржуазных интеллигентов, кто нашел в себе мужество с необыкновенным сочувствием и восхищением говорить о революции 9 8 года в Германии. «Во время немецкой революции я без всяких оговорок стоял на стороне революции», — писал он. Позже, в 1931 году в письме к Томасу Манну Гессе снова говорит: «В году 1918 все мои симпатии были на стороне революции; с тех пор мои

надежды на германскую республику, которую можно принимать всерьез, давно разрушены. Германия упустила случай совершить свою собственную революцию и найти подходящую для себя форму правления». Естественно, что после прихода гитлеровцев к власти «самый немецкий из всех немецких писателей» (так называла Гессе буржуазная критика) был в Германии фактически запрещен. Правда, однажды нацистские чиновники попытались было вступить в переговоры с Германом Гессе. Они предложили издать составленную им «Библиотеку мировой литературы» — серию книг, вошедших в золотой фонд литературы, предварительно выбросив произведения, которые принадлежали перу писателей-евреев. Нечего и Говорить, что Гессе с возмущением отверг это предложение. С тех пор книги Гессе были объявлены в гитлеровской Германии «нежелательными». Только после поражения фашизма романы, повести, стихи и литературоведческие работы Германа Гессе вновь стали издаваться у него на родине.

Но после 1945 года, как и прежде, маститый писатель продолжает вести борьбу с реакцией и мракобесием С тревогой пишет Гессе о попытках боннской реакции возродить милитаризм и посе-

ять семена новой войны в самом сердце Европы.

Большой художник, Герман Гессе не мог не отразить в своих произведениях кричащие противоречия буржуазного общества. Книги Гессе полемичны, полны глубокого динамизма. В этом смысле он отнюдь не походит на кристально чистого, уравновешенного Готфрида Келлера, про которого Роза Люксембург писала 30/Ш 1917, что некоторые его произведения — «повествования о давно прошедших уже мертвых делах и людях...». Гессе так же, как Томас Манн, принадлежит к категории очень сложных писателей (недаром Томас Манн говорил, что ему иногда кажется, будто некоторые страницы романов Гессе написаны не Гессе, а им самим). Очень часто мысли Гессе выражены в его книгах опосредствованно. Он прибегает к символике, к сложным ассоциативным образам.

В романе «Демиан», с подзаголовком «История одной молодости» (роман вышел в 1919 году), писатель ставит сложнейшие философские проблемы — интеллигенция и народ, искусство и индивидуум. Несмотря на то что в этом романе есть элементы иррационального и даже мистического, он в своей основе проповедует здоровые человеческие чувства. «Демиан»

оказал большое влияние на целое поколение немецкой (молодежи. В романе «Степной волк» (1927) рассказывается о трех неделях жизни писателя Гарри Галлера. Действие этого романа происходит как бы в двух планах — реальном и сказочном. В «Степном волке» нашло свое выражение смятение героя Гессе — буржуазного интеллигента. Но и здесь писатель восхваляет непреходящие моральные ценности — честность, доброту, мужество. В 1930 году вышла широко известная повесть Гессе «Нарцисс и Гольдмунд», считающаяся великолепным образцом немецкой прозы Действие этой повести разыгрывается на фоне средневековых декораций. В повести ведется горячий спор между мыслителем Нарциссом и человеком искусства Гольдмундом Крупнейшим творческим достижением Гессе явился его социально-утопический роман «Игра стеклянных бус» (1943). Действие романа происходит в 2400 году. Оглядываясь назад, герои романа подвергают острой критике буржуазное общество середины XX века. «Игра стеклянных бус» — это своего рода итоговое произведение Гессе: в нем заново рассматриваются все те социальные, философские и этические проблемы, которые писатель ставил на всем протяжении своей жизни.

Ранняя повесть Гессе «Под колесами», наряду с повестью «Петер Каменцинд», принесла молодому писателю славу. Повесть эта, была издана в 906 году. Как и во многих других произведениях писателя, в основу повести легли автобиографические мотивы. В свое время для подростка Гессе, родившегося в бедной мещанской семье в захолустном немецком городишке, был только один путь «выбиться в люди» — духовная семинария, а затем теологический факультет, с тем чтобы со временем, восемь или девять лет спустя вступить на вторую, более длительную часть своего жизненного пути и тогда уже возместить государству оказанные им благодеяния, — иными словами, до конца своей жизни влачить лямку в качестве церковного чиновника Подросток Гессе не выдержал семинарской муштры; пятнадцати лет от роду он убежал из семинария и потом очень долго не мог найти свой путь. Между прочим, он, как и его герой Ганс Гибенрат, служил учеником у механика…

Однако повесть «Под колесами» отнюдь не является чисто автобиографической. Тем более неправильно отождествлять юного Гессе с Гансом Гибенратом. Духовно Гессе гораздо ближе другой персонаж повести — поэт и бунтарь Гер-

ман Гейльнер.

Конфликт повести, «Под колесами» кажется весьма несложным. В сонном, застывшем городишке, в среде сытых и ограниченных мелких буржуа, вдруг появляется яркий, одаренный ребенок Ганс Гибенрат. «Поистине в старинный городок. подаривший миру так много достойнейших бюргеров и ни одного таланта или гения, наконец-то сверху упала таинственная искра, — пишет Гессе. Однако ни отец, ни школьные учителя маленького Ганса понятия не имеют о том, как надо развивать таланты. Они без конца пичкают мальчика латынью, греческим, математикой. Ганс вынужден зубрить дни и ночи напролет, он не знает ни свободных вечеров, ни воскресений. Мальчика лишают всех его незамысловатых радостей — у него нет больше времени сбегать на рыбалку, поиграть с товарищем, смастерить что-нибудь. Наконец Ганс с блеском выдерживает трудный экзамен. Но и это не помогает несчастному. Долгожданные каникулы превращаются для мальчика в ад — он снова занимается целыми днями. Жизнь в семинарии также не приносит Гансу облегчения — безжалостные семинарские наставники подгоняют его, словно выбившуюся из сил лошадь. Все это не мо-

жет не кончиться катастрофой. Ганс заболевает.

При поверхностном чтении может показаться, что вся трагедия Ганса Гибенрата, выражаясь современным языком, — трагедия «учебной перегрузки, маленький Ганс оказался слабым ребенком, а его наставники не в меру переусердствовали Однако Дело обстоит далеко не так просто. Ганс Гибенрат попадает «под колеса, безжалостной и бездушной машины. Характерно, что Гессе, подробно описывающий множество однокашников своего героя, почти не дает себе труда обрисовать детально школьных и семинарских учителей Ганса. Он ясно сознает, что и немецкие педагоги начала века являются колесиками все той же машины. Разница между ними не столь существенна. Да дело и не в учителях, не в их характерах и повадках. Кайзеровской Германии нужны покорные чиновники, попы, офицеры. Описываемая Гессе семинария — одна из тех «адских кухонь, где немецких «толстощеких мальчиков, превращают в верноподданных Вильгельма. Гессе с гневом пишет о том, но в семинарии мальчиков подвергали «тонкому и надежному способу клеймления, Полный иронии и горечи писатель бичует методы и конечные цели германской воспитательной системы. «Учи-

тель, — пишет Гессе, — превращает толстощекого увальня в исхудавшего и мрачного полуаскета, с «белыми и спокойными, руками. «Его долг, обязанность, возложенные на него государством, и заключаются в том, чтобы обуздать грубые силы, искоренить инстинкты природы и на их месте посеять смиренные и одобренные властями идеалы Не будь этих усилий школы, как много безудержно стремящихся вперед искателей или же ушедших в бесплодное созерцание мечтателей выроста бы вместо нынешних всем довольных бюргеров и чиновников карьеристов. Ведь в каждом из них таилось нечто дикое, необузданное, варварское, и это надо было сломить, погасить опасный огонь, затоптать его Человек, каким его создала природа, непостижим, замкнут, опасен, подобен потоку, низринувшемуся с неведомых высот, дремучему лесу, в котором нет порядка и благоустроенных дорог И так же как девственный лес необходимо прежде всего проредить, очистить, силой обуздать его неудержимый рост, так и школа призвана сломить все естественное в человеке, силой победить его и обуздать, И все это стройное здание воспитания венчает, по словам Гессе, «тщательно продуманная муштра казармы».

Гессе показывает также, что наука, которой забивают голову несчастного Ганса Гибенрата, схоластична, оторвана от жизни, мертва. И не потому, что она такова на самом деле, — ведь нельзя же назвать мертвой математику или греческую поэзию, — а потому, что машина воспитания губит все, к чему она прикасается: и алгебраические формулы, и стихи Гомера. Как только до сознания Ганса доходит эта грустная истина, в его жизни происходит роковой перелом, он теряет всякий интерес к учению.

Мир школы, монастыря, бюргерской семьи — мир чиновников и дельцов Гессе противопоставляет чистому миру мальчика Гибенрата, Этот мотив глубоко закономерен для творчества Гессе. В своих произведениях писатель всегда выступает за естественность и простоту, так свойственные детям. Вся буржуазная цивилизация, по мнению Гессе, лишь калечит и ломает людей. Подвергая уничтожающей критике педагогическую машину кайзеровской Германии, Гессе отдает себе отчет в том, что она является лишь частью общегосударственной машины. Правда, он не говорит об этом прямо, ограниченный темой своей повести. Но его намеки на «прусскую казарму, ясное тому свидетельство.

Очень сильны в повести и антиклерикальные мотивы: Гессе глубоко презирает людей в сутанах и ханжей, прикрывающихся именем божьим для того, чтобы погасить искру божью в душах подростков.

После долгих блужданий Ганс Гибенрат — слава и надежда своего городка — гибнет. Однако неправильно было бы утверждать, что повесть «Под колесами, так уж мрачна и безысходна Судьба Гейльнера свидетельствует о том, что жестокой «машине, удается «перемолоть, отнюдь не все юные души. К сожалению, Гессе не рассказывает нам более подробно о жизни Гейлынера после его бегства из семинарии Юн лишь кратко сообщает, что из «страстного юноши после многих гениальных взлетов и блужданий, жизнь сделала «хоть и не, героя, но все же настоящего человека, С большой симпатией рисует писатель бедняков, с которыми сталкивается Ганс. Больной мальчик Рехтенгейль, сапожник Флайг, «добрая фея, Лиза Нашольд — все его антиподы описанных в повести бюргеров и чиновников И, наконец, необыкновенно трогательно рисует Гессе в этом своем раннем произведении природу — великую утешительницу и вдохновительницу людей Страницы, где маленький Ганс удит рыбу

или где семья Флайга гонит сидр из налитых соком красных яблок, овеяны дыханием подлинной поэзии…

Повесть «Под колесами, занимает сравнительно небольшое место в творчестве Германа Гессе. Тем не менее уже в ней нашли свое выражение многие важные черты таланта писателя. Из этого произведения, написанного свыше пятидесяти лет назад, мы видим, как Гессе ненавидит реакцию (и мещанство, видим, как он борется с казенщиной, с нивелировкой людей и прославляет гуманистические идеалы. Таков Герман Гессе и в наши дни.

Его романы и повести вполне заслуженно заняли почетное место среди произведений крупнейших западных писателей гуманистов XX века.

Л. Черная

Глава первая

Господин Иосиф Гибенрат, мелкий маклер и торговый агент, никакими достоинствами от своих земляков не отличался. Подобно всем им, он владел небольшим домом с садиком, фамильным склепом на городском кладбище, был здоров, коренаст, обладал скромными коммерческими способностями, сочетавшимися с искренним, даже подобострастным, уважением к деньгам и несколько поблекшей под влиянием просвещения набожностью, выказывал надлежащий решпект к всевышнему и начальству и слепо покорялся нерушимым заповедям бюргерской добропорядочности. Любил он также выпить кружку пива, но пьяным его никогда не видели. Случалось, что на стороне он обделывал и не совсем чистые чета, однако не преступая границ законом дозволенного. Бедняков он обзывал голытьбой, а людей с достатком — вельможами. Хлеб у него пекли в общегородские дни, в компании он никогда не отказывался от закуски или солянки с колбасой, и каждую пятницу его, как непременного члена бюргерского клуба, можно

было встретить на кегельбане в «Орле». За работой он курил дешевые сигары, после обеда и по воскресеньям — те, что подороже.

Филистерская это была душонка! В юности Гибенрат еще проявлял кое-какие добрые чувства, но со временем все в нем зачерствело и сохранилась лишь несколько большая, чем обычно, привязанность к домашнему очагу, прикрытая нарочитой грубоватостью, горделивое любование собственным сыном да изредка пробуждавшееся желание одарить беднейшего. Умственные способности его ограничивались врожденной хитростью да хорошей памятью на цифры. Читал он только газету, и для удовлетворения его потребности в прекрасном вполне хватало любительского спектакля, раз в год дававшегося в клубе, а в промежутках — циркового представления.

Поменяйся он именем и жильем с любым соседом — никто бы этого не заметил. Даже таившуюся в самых сокровенных уголках души неусыпную подозрительность ко всему более сильному, самобытному и порожденную завистью вражду. Ко всему необыденному, вольному, изысканному, духовно возвышенному он разделял со всеми отцами города.

Однако хватит о нем, Лишь едкому сатирику под. силу описать столь заурядную личность во всем ее неосознанном трагизме. Но у этого филистера был сын, кстати единственный, вот о нем-то и стоит поговорить.

Ганса Гибенрата, несомненно, можно было назвать одаренным ребенком. Стоило только понаблюдать за ним в кругу сверстников, как сразу бросались в глаза его благородство, какая-то обособленность. Маленький шварцвальдский городок никогда еще не дарил миру ничего подобного. Среди его обитателей не встречалось людей, способны видеть дальше собственного носа, а тем более оказать влияние, которое распространялось бы за пределы городских стен. Бог весть от кого у мальчика взялся такой сосредоточенный взгляд, умный лоб, такая изящная походка. Быть может, от матери? Она! умерла уже много лет назад, и при жизни никто ничего особенного в ней не примечал, разве только то, что она всегда была чем-нибудь огорчена и частенько прихварывала. Об отце нечего и говорить. Поистине в старинный городок за восемьсот — девятьсот лет своего существования подавивший миру так много достойнейших бюргеров и ни одного таланта или гения, наконец-то упала сверху та-

инственная искра!

Воспитанный в современном духе наблюдатель, упомянув о болезненности матери и древности рода, пожалуй, заговорил бы об одностороннем интеллектуальном развитии как признаке начинающейся дегенерации. Однако городок почитал за счастье не числить среди своих граждан подобных оригиналов, и лишь молодые преуспевающие чиновники и кое-кто из учителей имели самое отдаленное понятие о так называемых «современных людях, да и то почерпнутое ими из газет. В этом городке можно было еще жить и даже слыть образованным человеком, не зная речей Заратустры. Браками здесь сочетались прочно и частенько: счастливо; и вся-то жизнь носила неисправимо старомодный характер. Правда, нагревшие себе руки богачи, из среды которых за последние двадцать лет кое-кто шагнул от ремесленника до фабриканта, первыми снимали шляпу перед чиновниками и даже искали их общества, но в своем кругу называли их голытьбой и чернильными душами; но все же считали для себя высшей честью заставить сыновей пройти курс наук, дабы впоследствии определить их на казенную должность. К сожалению, в большинстве, случаев это так и оставалось

несбыточной мечтой, ибо юные наследники, отсидев по два года в нескольких классах, лишь с грехом пополам одолевали прогимназию.

Но в одаренности Ганса Гибенрата никто не сомневался. Учителя, господин директор, соседи, пастор, однокашники — словом, все, знавшие Ганса, соглашались, что у паренька светлая голова, Да и вообще он какой-то особенный. Тем самым будущее Ганса было предрешено. В швабской стороне для одаренных детей, которые не родились богатыми, остается всего одна, и притом весьма узкая, дорожка: после общеземельного экзамена — семинария, затем Тюбингский монастырь, а далее — либо учительская, — либо церковная кафедра. Из года в год от трех до четырех десятков исхудалых сынов этого края сразу же после конфирмации вступают на сию надежную и спокойную стезю и за счет казны проходят курс гуманитарных наук, с тем чтобы девять или восемь лет спустя вступить на вторую, более длительную часть своего жизненного пути и тогда уже возместить государству оказанные им благодеяния.

Всего несколько недель оставалось до очередного общеземельного экзамена. Так именовалась ежегодно совершаемая гекатомба, когда «государ-

ство, предпринимает отбор интеллектуальной элиты и к столице, в лоне которой происходят испытания из городов и сел несутся вздохи пожелания и молитвы многочисленных родичей.

Ганс Гибенрат оказался единственным кандидатом, которого городок решил направить на столь мучительное состязание. Честь, разумеется, была велика, но и удостоился он ее отнюдь недаром.

После занятий в школе, оканчивавшихся в четыре часа пополудни, Ране бежал к господину директору, который самолично занимался с ним греческим языком, в шесть часов пастор — какая любезность! — натаскивал кандидата по-латыни и закону божию, а кроме того, два раза в неделю в течение часа после ужина знания Ганса проверял Профессор математики. В греческом наряду с неправильными глаголами особое внимание уделялось частицам и заложенному в них богатству возможностей соединения предложений, в латинском — следовало добиваться ясности и лаконичности стиля, а также хорошего знания просодических[1] тонкостей, в математике же особенно налегали на тройное правило. Оно,

[1] Примечания: 1

Просодия — раздел античной грамматики, посвященный определению долготы и краткости слогов.

неоднократно заверял Ганса учитель, как будто и не имеет большого значения ни для будущего курса наук, ни для житейской практики, но это только кажется. На самом же деле знание его чрезвычайно важно, да и вообще математика важнее многих других предметов — ведь она развивает способность логически мыслить и, стало быть, является основой всякой ясной, трезвой и плодотворной мысли.

Но дабы не возникло опасности умственного перенапряжения и тренировка мозга не причинила вреда сердцу, не иссушила его, Гансу дозволялось за час до начала классов посещать занятия конфирмантов. Здесь благодаря увлекательной игре в вопросы и ответы при заучивании и пересказе со страниц катехизиса Иоганна Бренда[2] так и веяло в юношеские души живительным дыханием истинной набожности. К сожалению, Ганс сам портил эти услаждающие душу часы и лишал себя их благодати Дело в том, что меж страниц своего молитвенника он тайком вкладывал шпаргалки с латинскими и греческими вокабулами и упражнениями и почти весь божественный час посвящал этим светским наукам.

---

[2] Примечания: 2
Деятель реформации на юге Германии.

Впрочем, совесть его не настолько притупилась, чтобы он при этом не страдал от страха и постоянной неуверенности Стоило суперинтенденту[3] приблизиться к нему или, не дай бог, вызвать, и Ганс испуганно вздрагивал, сердце у нею во время ответа бешено колотилось и на лбу выступала испарина. Но отвечал он всегда безупречно, произношение было отличное, а суперинтендент ставил произношение превыше всего.

Его домашний урок, письменный ли, устный ли, возраставший с каждым днем, вполне можно было приготовить поздно вечером при ласковом свете лампы. Этот тихий, осененный миром домашнего очага труд, которому классный наставник приписывал особенно глубокое и благотворное действие, по вторникам и субботам заканчивался уже к десяти, но в остальные дни — в одиннадцать — двенадцать, а то и поздней. Порой отец ворчал — слишком, мол, много расходуется керосина! — и все же он с благосклонной гордостью взирал на сына. В часы досуга, ежели таковые выпадали, и в воскресные дни, которые ведь составляют седьмую часть нашей жизни, настоятельно рекомендовалось чтение авторов,

[3] Примечания: 3
Духовное лицо у протестантов.

не значащихся в школьной программе, и повторение грамматики.

Разумеется, в меру, в меру! Раз или даже два раза в неделю необходима прогулка. О, она дает поразительные результаты! В хорошую погоду полезно захватить с собой и книгу, и ты увидишь, как легко и весело все усваивается на свежем воздухе! И вообще — выше голову!

Итак, Ганс «в меру сил, держал выше голову, однако он теперь и прогулки использовал для занятий и ходил тихий, запуганный, с сонным лицом и синевой под глазами.

— Что вы скажете о Гибенрате? По моему, он должен выдержать, — сказал как-то раз классный наставник директору.

— Непременно выдержит, непременно! — даже взвизгнул директор. — Он у нас далеко пойдет! Вы только взгляните на него, это же сама одухотворенность!

За неделю до экзаменов сия одухотворенность, дошла до исступленности. На хорошеньком, нежном лице мальчика тусклым огнем горели глубоко запавшие, беспокойные глаза, тонкие, выдающие работу мысли морщинки подергивались, а руки, и без того худые, свисали с какой-то усталой грацией, напоминая творения Ботти-

челли.

Но вот подошел и день отъезда. Завтра утром Ганс вместе с отцом поедет в Штутгарт, чтобы там на экзамене показать, достоин ли он войти в узкие монастырские врата семинарии. Директор, гроза прогимназии, с необычайной ласковостью сказал ему на прощанье:

— Сегодня вечером тебе уже не следует заниматься. Обещай мне! Ты должен прибыть в Штутгарт со свежей головой. Итак, отправляйся на часок погулять, а затем — пораньше в постель. Молодым людям хороший сон необходим.

Ганс был поражен, встретив вместо устрашающего количества советов такую доброжелательность, и с легкой душой вышел из прогимназии.

Старые липы на Церковной горе матово поблескивали в жарких лучах послеполуденного солнца, на рыночной площади, сверкая, плескались фонтаны, через неровную линию островерхих крыш сюда заглядывали близкие горы, поросшие иссиня-черным ельником. У Ганса было такое чувство, будто он давным-давно ничего этого не видел, — все казалось ему необычайно красивым, заманчивым. Правда, побаливала голова, но ведь сегодня ему уже не надо ничего учить.

Медленно шагал он по Базарной площади, ми-

мо старинной ратуши, по Базарному переулку и, оставив позади кузницу, вышел к старому мосту. Здесь он прошелся несколько раз взад и вперед и присел на широкий парапет. Неделя за неделей, месяц за месяцем он по четыре раза в день проходил здесь, но никогда не обращал внимания на маленькую готическую часовню, на реку, не замечал плотины, дамбы, мельницы, не видел даже зеленого лужка, где обычно собирались купающиеся, и заросшего ивами берега, вдоль которого теснились мостки для дубления кож. Река здесь была тихая и глубокая, точно озеро, и отливала зеленым, а длинные изогнутые ветви ив своими (Острыми листьями чертили зеркальную гладь.

Ганс вспомнил, как прежде он проводив здесь послеобеденные часы, а порой и целые дни, плавал, нырял, катался на лодке, сидел с удочкой. Ах, эта рыбалка! Он теперь совсем разучился удить, забыл, наверное, все, что знал, а ведь как разревелся в прошлом году, когда ему запретили ходить на реку — надо, мол, готовиться к экзаменам. Да, рыбалка! Не было ничего прекрасней ее за все долгие школьные годы! Стоишь, притаившись в зыбкой тени ив, неподалеку шумит плотина, а здесь вода глубокая, спокойная, солнечные зайчики так и пляшут на реке, мягко

пружинит тонкое, длинное удилище. А как волнуешься, когда рыбка клюнет, и тянешь ее на берег, и какая удивительная радость охватывает, как только ты прикоснешься к прохладной и такой тяжелой, бьющей хвостом рыбе!

Он ведь не раз вытаскивал на крючке жирных карпов, ловил и ельцов и усачей, попадались ему и изящные лини, и маленькие пескари, переливающиеся всеми цветами радуги.

Долго Ганс смотрел на воду. Этот зеленый уголок настроил его на задумчивый, грустный лад Какими далекими казались ему сейчас милые сердцу, такие вольные, даже озорные ребячьи радости. Машинально он вытащил из кармана кусок хлеба, скатал несколько катышков, бросил их в воду и долго следил, как они шли ко дну и как их склевывали рыбки. Первыми налетели крохотные головли. Они жадно заглатывали мелкие катышки, а большие гнали впереди себя, толкая голодными рыльцами. Медленно, остерегаясь, приблизился крупный елец, его темная, широкая спинка почти сливалась с илистым дном; он степенно оплыл хлебный шарик, и вдруг тот мгновенно исчез в широко раскрытой пасти.

От лениво несущей свои воды реки тянуло тепловатой сыростью, в темно-зеленой глади

расплывалось отражение белого облачка, с мельницы доносился визг дисковой пилы, а обе плотины гудели низко, в унисон. Гансу почему-то вспомнилось недавнее конфирмационное воскресенье. Когда торжество и благолепие: достигли наивысшей точки, он поймал себя на том, что спрягает какой-то греческий глагол. Да и вообще в последнее время с ним часто случается, что, сидя за партой, он путается в мыслях и, вместо того чтобы думать о текущем уроке, повторяет предыдущий или готовится к следующему. Как бы это не отразилось на экзаменах!

Рассеянно он спустился с парапета и никак не мог решить, куда теперь идти. Вдруг он вздрогнул от неожиданности: чья-то сильная рука сжала его плечо. — Помогай бог, Ганс! — слышит он ласковый мужской голос. — Не пройдешься ли со мной немного?

Это сапожник Флайг. Когда-то Ганс провел у него не один вечер, но теперь уже давно не навещал. Шагая рядом, Ганс невнимательно слушает набожного мастера. Флайг говорит об экзамене, желает юноше удачи, подбадривает его, но весь смысл его речи сводите в конце концов к тому, что экзамен — явление чисто внешнее и случайное. Провалиться вовсе не позорно, это может

стрястись и с лучшим учеником. И если что-нибудь подобное произойдет с ним, Гансом, пусть памятует о том, что у вседержителя свои особые намерения насчет каждой человеческой души и пути его неисповедимы.

По отношению к Флайгу совесть Ганса была не совсем чиста. Он уважал старика, ему нравилась его уверенность, внушительные манеры, но он слышал столько анекдотов об его сектантской братии и так смеялся над ними. К тому же он боялся колючих вопросов сапожника и, стыдясь собственной трусости, избегал с ним встреч. С тех пор как Ганс стал гордостью учителей, у него и самого обнаружилось что-то от высокомерия, а старый мастер, желая смирить его гордыню, както странно стал поглядывать на него. Потому-то душа мальчика постепенно и ускользнула от доброжелательного наставника: ведь Ганс переживал самый расцвет мальчишеского упрямства и на каждое неласковое прикосновение, задевавшее чувство собственного достоинства, отзывался весьма болезненно. Шагая сейчас рядом с проповедником, он и не подозревал, с какой добротой и заботой тот поглядывал на него.

На Королевской улице они встретили пастора. Сапожник сдержанно, даже холодно поздоро-

вался и вдруг куда-то заспешил — о священнике ходила молва, что он какой-то новоявленный и не признает даже воскресения Христова.

— Ну как дела? — спросил он Ганса, увлекая его за собой. — Верно, рад, что дождался наконец?

— Да, уж лучше поскорей бы?

— Держись, держись! Ты знаешь, как все мы надеемся на тебя. Особого успеха я ожидаю на латинском экзамене.

— А вдруг я провалюсь? — робко вставил Ганс.

— Провалишься? — Пастор даже остановился в испуге. — Нет, ты не можешь провалиться! Что ты! Нет, это просто немыслимо! Да и что это за разговоры?

— Я только хотел сказать — ведь всякое может случиться…

— Нет, не может, Ганс! Не может! Нет, нет, ты Должен быть совершенно спокоен. Передай поклон отцу и… не теряй мужества!

Ганс посмотрел ему вслед. Потом оглянулся — не видно ли мастера Флайга. Что ему тот говорил? «Не так важна латынь, лишь бы совесть была чиста! И бога надо бояться. Легко ему рассуждать! А тут еще пастор как снег на, голову. Этому, если провалишься и на глаза не показывайся!

Подавленный, Ганс поплелся домой и прежде

всего зашел в маленький, круто спускающийся к реке сад. Вот она стоит — полусгнившая, давно уже никому не нужная беседка. Здесь у него был сколоченный им самим крольчатник — три года Ганс выводил в нем кроликов. А прошлой осенью их отняли у него — и все из-за экзаменов! Нельзя, мол, ему отвлекаться.

И в сад-то он уже давно не заходит. Опустевшая клетка покосилась, грот развалился, маленькое колесо игрушечной мельницы — вернее, жалкие его остатки — валяется рядом с водопроводным краном. А ведь Когда-то он все это сам мастерил и так радовался, когда ему что-нибудь удавалось! С тех пор прошло два года — целая вечность! Ганс поднял колесико, попытался выпрямить его, но сломал и тут же бросил через забор. С глаз долой! Кончено и позабыто! Тут ему вспомнился школьный товарищ Август Вместе они мастерили мельничное колесо, сколачивали крольчатник, проводили здесь целые вечера, метали из пращи камешки, гоняли кошек, строили шалаш и на ужин уплетали сырую свеклу. По потом у Ганса пошла эта гонка с ученьем. Все ему в первые выйти хотелось Август же год назад бросил школу и поступил на выучку к механику. Раза два только и заходил после этого Правда, у него теперь тоже

не было свободного времени.

Тени облаков торопливо скользили по долине, солнце стояло уже низко над горами. На мгновение Ганс почувствовал, что он вот-вот бросится наземь и разревется. Вместо этого он достал с полки топорик и, размахивая слабыми руками, разрубил крольчатник на мелкие куски. Дощечки так и летели в разные стороны, ржавые гвозди с визгом гнулись, посыпались остатки сгнившего корма, Ганс работал топором так яростно, словно хотел убить свою тоску по кроликам, Августу, по всем своим старым ребячьим забавам.

— Это еще что такое! — закричал отец из окна. — Ты чем там занят?

— Дрова заготовляю.

Не сказав больше ни слова, Ганс бросился через дворик на улицу и побежал вдоль берега реки. Недалеко от пивоварни он увидел два связанных плота На таких плотах он раньше в жаркие дни часами плыл вниз по течению — плескавшаяся меж бревен вода одновременно И убаюкивала и будоражила его. Он спрыгнул на шаткий плот, лег на кучу ивовых веток и попытался представить, себе, будто его уносит течением и он плывет то быстро, то медленно мимо полней, деревень, лугов, прохладных рощ, под мостами и через

поднятые створы плотин, а он, Ганс, лежит на плоту, и все опять как прежде, когда он плыл за травой для кроликов к Коньковой горе или сидел с удочкой неподалеку от Дубилен, и не болит него голова, и не мучат заботы…

Усталый, он возвратился домой только к ужину. Отец, крайне взволнованный предстоящей поездкой на экзамены в Штутгарт, раз десять спрашивал, все ли книги уложены, приготовил ли Ганс черный костюм, не хочет ли он в поезде повторить еще раз грамматику и хорошо ли себя чувствует. Ганс отвечал скупо, скорее огрызался, почти не притронулся к пище и вскоре пожелал родителю покойной ночи.

— Спокойной ночи, Ганс! Выспись хорошенько! В шесть я тебя разбужу. Латинь ты не забыл?

— Нет, и «латинь» не забыл! Покойной ночи.

Долго Ганс сидел у себя, не зажигая лампы. Эта маленькая комнатка, где он был сам себе хозяин и где ему никто не мешал, была, пожалуй, единственной радостью, доставшейся Гансу благодаря экзаменам. Здесь он, одолеваемый усталостью, борясь со сном и головной болью, долгие вечерние часы корпел над Цезарем, Ксенофонтом, словарями и математическими задачками, часто близкий к отчаянию, но всегда упорно подгоня-

емый гордостью и честолюбием. Но здесь же он пережил часы, которые были ему дороже всех ребячьих забав, — странно призрачные часы, когда он, исполненный гордости, пьянящего предчувствия успеха, мечтательной тоски, уносился в круг возвышенных существ, поднимаясь все выше над школой, экзаменами, над всеми и всем! Им овладевало дерзкое блаженное чувство, что он действительно представляет собой нечто лучшее, иное, чем его румяные, круглолицые и добродушные сверстники, и что когда-нибудь он будет надменно смотреть на них с недосягаемой высоты. Вот и сейчас он глубоко вздохнул, словно здесь, в его комнатушке, повеяло вольным, прохладным ветерком, присел на кровать и, так мечтая, полный желаний и сладостных предчувствий, еще долго сумерничал. Но постепенно веки начали слипаться, он силился открыть глаза, такие большие и воспаленные, но они каждый раз опять закрывались. Вот и голова уже приникла к худенькому плечу, устало раскинулись тонкие руки к Ганс уснул, так и не раздевшись, и, словно ласковая материнская рука, крепкий сон утихомирил наконец волны, бушевавшие в его беспокойной детской душе, разгладил и легкие морщинки на красивом лбу.

Нет, такого еще никогда не бывало! Невзирая на ранний час, господин директор соблаговолил лично явиться на вокзал. Гибенрат-старший, затянутый в черный сюртук, от волнения и радости не мог устоять на месте Он нервно бегал вокруг директора и Ганса и принимал пожелания доброго пути и успеха на экзаменах от начальника вокзала и всех железнодорожных служащих, то и дело перекладывая маленький черный чемодан из правой руки в левую и обратно. Зонт оказывался у него то под мышкой, то зажатым между ног, несколько раз он ронял его и, чтобы поднять, ставил чемоданчик на землю. Можно было подумать, что ему предстоит путешествие в Америку, а не в Штутгарт и обратно. Сын же его внешне был совершенно спокоен, однако затаенный страх сжимал ему горло.

Подошел поезд, остановился, пассажиры заняли свои места, директор помахал рукой, господин Гибенрат закурил сигару, а вот за окном уже промелькнул городок в долине и маленькая речка.

Какой мукой была эта поездка и для сына и для отца!

В Штутгарте отец словно ожил. Как истый провинциал, он блаженствовал, попав на несколько дней в столицу. Веселый и живой, он вдруг пре-

вратился в общительного светского человека. Ганс, напротив, притих и еще больше оробел, вид чужого города угнетал его. Не знакомые лица, дома, страшно высокие и какие-то расфуфыренные, бесконечные утомительные улицы, грохот конок — все это оглушило его, и он с выражением боли: на лице озирался вокруг.

Остановились они у тетки, но и здесь Ганса окружали чужие стены, приветливость и болтливость тетки удручали его, а томительное ожидание и бесконечное подбадривание отца и вовсе доконали. Чувство, потерянности среди чуждых ему людей гнало его из одной комнаты в другую. Когда он глядел на непривычную обстановку, на тетку, одетую по-городски, на крупноузорчатые обои, каминные часы, картины или бросал взгляд из окна на шумную улицу, ему казалось, что все его предали, что прошла уже целая вечность, как он покинул родной дом, и что он совсем забыл все с таким трудом заученное.

После обеда он собирался еще раз повторить греческие частицы, но тут тетка предложила прогулку. На мгновение перед внутренним взором Ганса промелькнуло что-то похожее на зеленый лужок, на тенистую рощу, и он с радостью согласился. Однако очень скоро он убедился, что

прогулка по большому городу доставляет совсем иные радости, нежели в родном краю.

Вышли они вдвоем с теткой — отец воспользовался пребыванием в столице, чтобы! нанести необходимые визиты. Уже на лестнице их настигла первая беда. На площадке второго этажа они встретили толстую разряженную даму, перед которой тетка присела в реверансе. Тут же они. принялись оживленно болтать. Простояли они там не меньше четверти часа, Ганс прижался к перилам, собачка незнакомой дамы, рыча, обнюхивала его, и по тому, как ее хозяйка оглядывала его сверху вниз через лорнет, он понимал, что речь идет о нем. А едва они выбрались на улицу, тетка исчезла в первом же магазине; Гансу пришлось долго ждать ее. Сконфуженный, он стоял на тротуаре, прохожие его толкали, уличные мальчишки подтрунивали над ним. Наконец тетка вынырнула из магазина и вручила ему плитку шоколада. Ганс вежливо поблагодарил, хотя терпеть не мог шоколада. На ближайшем углу они сели в конку и с оглушительным звоном понеслись в переполненном вагончике по незнакомым улицам, пока не достигли большой аллеи и парка. Здесь бил фонтан, цвели тщательно огражденные клумбы, а в маленьком искусствен-

ном водоеме плавали золотые рыбки. Вдыхая: теплый, насыщенный пылью воздух, Ганс с тетей прогуливались взад и вперед в толпе гуляющих одни лица сменялись другими, изящные платья — менее изящными, мимо проносились велосипедисты, проезжали детские и инвалидные коляски, жужжал нестройный хор голосов. Наконец они присели на скамейку рядом о незнакомыми людьми. Тетка, до этого трещавшая без умолку, глубоко вздохнула и предложила Гансу съесть шоколад. Он стал отказываться.

— Боже мой, неужели ты стесняешься? Кушай, кушай, дорогой!

Ганс вытащил плитку, долго разворачивал серебряную бумажку и наконец откусил крохотный кусочек. Не любил он шоколад, но сказать об этом не посмел. На его счастье, тетка, увидев в толпе; знакомого, упорхнула.

— Посиди тут, я сейчас вернусь.

Ганс воспользовался случаем и швырнул плитку в кусты. Болтая ногами, он глядел на толпу и чувствовал себя очень несчастным. Наконец он решил повторить неправильные глаголы, однако, к ужасу своему, заметил, что ничего у него не получается. Он все начисто позабыл! А ведь завтра экзамен!

Вернулась тетка и сообщила, что ей удалось разузнать в нынешнем году экзаменуется сто восемнадцать кандидатов, примут же в семинарию только тридцать шесть. Ганс совсем приуныл и на обратном пути не проронил ни слова. Дома у него опять разболелась голова, кусок не лез в горло, и в конце концов он впал в такое отчаяние, что отцу пришлось крепко отругать его, а тетка сказала, что мальчишка невыносим. Заснул Ганс тяжелым глубоким сном, и всю ночь его преследовали кошмары будто он сидит вместе со своими сто семнадцатью товарищами на экзамене, профессор похож не то на пастора, не то на тетку и кладет перед ним целую кучу шоколада, а Ганс должен все это съесть. И покуда он, захлебываясь слезами, глотает шоколад, товарищи то один, то другой исчезают за маленькой дверью. Все уже справились со своими плитками, а его горка все растет и растет, вот она уже больше стола, загромоздила скамью, сейчас она задушит его…

На следующее утро, когда Ганс пил кофе и не спускал глаз с часов, боясь опоздать на экзамен, в родном городке многие поминали его имя. Первым, конечно, мастер Флайг. Прежде чем сесть за утреннюю похлебку в кругу семьи, подмастерьев и двух своих учеников, он, сотворил молитву.

К обычным в таких случаях словам он на этот раз добавил: «Господи, осени десницей своего ученика прогимназии Ганса Гибенрата, ныне держащего экзамен, благослови и напутствуй его. Да будет он благочестивым глашатаем божественного имени твоего!

Пастор, правда, не помолился за Ганса, но за завтраком сказал супруге: «Сейчас наш Гибенрат отправился на экзамен. Из него будет толк. Он еще станет у нас знаменитостью. А стало быть, и не плохо, что я натаскивал его по-латыни.

Классный наставник перед началом уроков обратился к ученикам со следующей речью: «В этот час в Штутгарте начинаются общеземельные экзамены. Пожелаем же Гансу Гибенрату успеха, правда, он не очень нуждается в этом, таких-то лентяев, как вы, он десяток за пояс заткнет». И почти все ученики подумали в это мгновение об отсутствующем — прежде всего разумеется, те, кто держал пари, провалится он или выдержит.

Ну а так как искренние пожелания и сердечное участие с легкостью преодолевают огромные расстояния, то и Ганс почувствовал, что дома о нем думают. Однако когда он в сопровождении отца вступил в зал, где должны были происходить экзамены, сердце у него бурно колотилось;

трепеща от страха, он выполнял все указания фамулуса, озираясь в большом, наполненном бледнолицыми юношами помещении, словно преступник в камере пыток. Когда вошел профессор и в сразу наступившей тишине стал диктовать упражнение по-латыни, Ганс нашёл его до смешного простым. С легкостью, даже с некоторым чувством радости он набросал черновик, внимательно и аккуратно переписал его и оказался одним из первых, кто сдал свои листки. Правда, по дороге к теткиному дому он заблудился и часа два проплутал по раскаленным летним солнцем улицам, но все это уже не могло нарушить его вновь обретенного равновесия. Он был даже рад, что таким образом избавился на время от опеки тетки и отца: бродя по грохочущим незнакомым улицам столицы, он казался себе чем-то вроде отважного путешественника. Когда он в конце концов, разузнав дорогу, добрался до цели, вопросы градом посыпались на него.

— Ну как? Как оно все было? Справился?

— Пустяки! — гордо ответил он. — Такой текст я и в пятом классе перевел бы!

Пообедал он с большим аппетитом.

Вторая половина дня оказалась свободной Отец потащил его к родственникам и друзьям. У одного

из них они застали застенчивого, одетого во все черное мальчугана из Геппингена, тоже приехавшего на общеземельный экзамен. Мальчиков оставили одних, и они с робким любопытством принялись разглядывать друг друга.

— Ну как упражнение по-латыни — спросил Ганс. — Правда, легкое?

— Совсем ерундовое, но в этом-то и закавыка. На пустяковых упражнениях легче всего срезаться. Думаешь, ничего такого нет, глянь — а там ловушка!

— Неужели правда?

— А как же! Не такие дураки эти господа.

Ганс даже испугался немного и задумался. Потом нерешительно спросил:

— У тебя, случайно, не осталось текста? Мальчик принес свою тетрадь, и они вместе проверили перевод слово за словом. Гансу даже показалось, что парень из Геппингена дока по части латыни, во всяком случае он дважды употребил такие латинские обороты, каких Ганс сроду не слыхивал.

— А какие завтра будут экзамены, ты не знаешь?

— Греческий и сочинение.

Затем новый знакомый поинтересовался, сколько человек из школы Ганса допущено к

экзаменам.

— А нас из Геппингена — двенадцать человек. И трое, знаешь, какие зубастые? Наши все считают, что они пройдут первыми. В прошлом году первым тоже был наш. А ты пойдешь в гимназию если провалишься?

Об этом Ганс еще не думал.

— Я не знаю… Нет, наверное, не пойду.

— Ну! А я обязательно пойду дальше учиться, если даже провалюсь. Мне мать обещала. В Ульм поеду.

Это произвело на Ганса сильное впечатление, а двенадцать геппингенцев да трое «зубастых» заставили его основательно струсить. Где уж ему с ними тягаться!

Дома он сразу достал книгу и ещё раз повторил глаголы на «mi». Экзамена по-латыни он совсем не боялся, тут он был уверен в своих силах. А вот с греческим творилось у него что-то странное Предмет ему нравился, он чуть что не бредил им, но это касалось только чтения. Особенно нравился ему Ксенофонт. Он писал таким живым, свежим языком, все у него звучало так весело, красиво, мощно, было проникнуто таким вольным духом, так было понятно. Но едва доходило дело до грамматики или до перевода с немецкого

на греческий, Ганс начинал путаться в лабиринте противоречивых правил и исключений; он и теперь испытывал перед этим языкам почти такой же суеверный страх, как в свое время, на первом уроке, когда еще не знал даже греческой азбуки.

На другой день был экзамен по греческому и сочинение по родному языку. Греческое упражнение оказалось довольно длинным и отнюдь не легким, тема сочинения — с подвохами, ее можно было толковать по-разному. После десяти в экзаменационном зале стало жарко и душно. Гансу попалось плохое перо, и он испортил два листа, прежде чем ему удалось начисто переписать работу. Но вот стали писать сочинение, и дело пошло совсем плохо, — все из-за нахального соседа, который подсунул Гансу записку и без конца пихал его в бок, торопя с ответом. Всякое подсказывание было строго-настрого запрещено и влекла за собой немедленное отстранение от экзаменов. Дрожа от страха, Ганс нацарапал на записке: «Оставь меня в покое», — и повернулся к соседу спиной. Жара стояла невыносимая. Даже экзаменующий профессор, размеренно, без устали шагавший между рядами, и тот несколько раз вытирал лицо носовым платком. Ганс в своем толстом суконном костюме конфирманта

вспотел, голова опять разболелась, а когда он в конце концов сдал сочинение, у него было такое чувство, будто в нем полно ошибок и он окончательно провалился.

За обедом он молчал и с лицом преступника после приговора на все расспросы только пожимал плечами. Тетка принялась его утешать, а отец, разбушевался и сделался невыносимым. После того как встали из-за стола, он увел Ганса в другую комнату и снова попытался его расспросить.

— Да плохо все, папа, — бросил в ответ Ганс.

— Как же так? Почему ты был невнимателен? Неужели нельзя было постараться, черт побери?

Ганс ничего не ответил, а когда отец начал бранить его, покраснев, буркнул:

— Ты же ничего в греческом не понимаешь!

Но самым ужасным было то, что в два часа ему предстоял устный экзамен. Его-то Ганс больше всего боялся. На раскаленной улице он почувствовал себя совсем плохо и от страха и головокружения почти ничего перед собой не видел.

В течение десяти минут он сидел за большим зеленым столом перед тремя строгими господами экзаменаторами, переводил с латинского, отвечал на какие-то вопросы. В течение следующих

десяти минут он сидел перед другими господами, переводил с греческого, и снова его о чем-то спрашивали. Под конец его хотели заставить проспрягать неправильный аорист, и Ганс ничего не мог ответить.

— Можете идти. Первая дверь направо.

Ганс сделал несколько шагов, но перед самой дверью вспомнил, как спрягается аорист, и остановился.

— Идите! — крикнули ему. — Идите! Может быть, вам дурно?

— Нет, я вспомнил аорист!

Ганс громко отчеканил все формы, заметил смех на лице одного из экзаменующих и, красный до ушей, выбежал вон. Потом он мучительно пытался припомнить вопросы и ответы, но все перепуталось у него в голове. Снова он видел перед собой большой зеленый стол, трех старых, мрачных профессоров в длиннополых сюртуках, раскрытую книгу и свою дрожащую руку на белом листе. Бог ты мой, каково он, должно быть, отвечал!

На улице ему почудилось, что он живет уже много недель в этом городе и все не может выбраться из него Как что-то очень далекое, виденное давным-давно, представился ему родной

садик, синие горы, поросшие елями, берег реки, где он сидит с удочкой. Ах, если бы ему позволили сейчас же уехать домой! Нет ведь никакого смысла дольше оставаться здесь, все пошло прахом!

Он купил сдобную булочку и весь остаток дня бродил по улицам, только бы не показываться на глаза отцу! Придя домой, он застал родственников в тревоге из-за его долгого отсутствия. Однако, увидев, как он устал и замучен, они тут же накормили его яичницей и отправили в постель. На следующий день предстоял экзамен по арифметике и закону божию, после чего Гансу позволят уехать домой.

На сей раз все обошлось благополучно. То, что ему теперь сопутствовала удача, Ганс воспринимал как злую иронию, — ведь накануне ему так не повезло, а это были экзамены по основным предметам. Ну, все равно, завтра уже домой!

— Экзамены кончились, мы уезжаем — сообщил он тетке.

Однако господин Гибенрат решил провести еще один денек в столице. Он собрался в Канштатт, намереваясь выпить там в парке чашку кофе. Но Ганс так умолял его, что отец в конце концов разрешил ему уехать одному уже сегодня. Ганса проводили на вокзал, купили билет, тетка

чмокнула его на прощанье, всучила провизию, и он, усталый, не способный ни о чем думать, укатил домой. За окном мелькали зеленые холмы, но лишь когда показались иссиня-черные горы, на мальчика нахлынуло чувство радости и избавления. Он был несказанно счастлив, что встретит старую служанку, даже директора, очутится в своей каморке, побывает в привычном низеньком классе, — все радовало его.

К счастью, на вокзале не оказалось ни одного любопытствующего знакомого, и Ганс, прижав к себе дорожный пакетик, никем не замеченный, поспешил домой.

— Ну, как, понравилось тебе в нашей столице? — спросила старая Анна.

— Понравилось? Ты что думаешь, человеку могут нравиться экзамены? Знаешь, как я рад, что вернулся! Отец только завтра приедет.

Ганс проглотил кружку студеного молока, снял с веревочки перед окном купальные трусики и убежал, но на сей раз не на прибрежный лужок, где всегда собирались городские мальчишки. Он забрел далеко за окраину, к месту, называвшемуся «коромыслом». Река была здесь глубокой и тихо вилась меж густо разросшимся кустарником. Ганс разделся, сперва попробовал воду

рукой, опустил в нее ногу, вздрогнул и вдруг бросился в реку. Медленно плывя против течения, он чувствовал, как вода постепенно смывает с него весь пережитый страх, весь пролитый пот, как она ласково заключает его тщедушное тело в свои прохладные объятия и как душа его, ликуя, возвращается в родную стихию. Он плыл то быстро, то медленно, как бы отдыхая, снова загребал руками и чувствовал, что вместе с прохладой его охватывает приятная усталость. Перевернувшись на спину, он дал нести себя течению, прислушивался к тонкому жужжанию вьющихся золотистыми роями мошек, видел, как вечернее небо прорезывают стремительные ласточки, как розоватый отблеск спрятавшегося за горами солнца еще играет на их крыльях…

Когда Ганс, одевшись, все еще погруженный в свои мечты, побрел домой, долину уже затянули длинные вечерние тени.

Вот и сад торговца Закмана, где Ганс, малышом, с ватагой ребятишек таскал зеленые сливы; а это домик плотника Кирхнера, где всегда валялись побелевшие балки, под которыми он находил червей. Проходя мимо владений управляющего Гесслера, Ганс вспомнил его дочь Эмму. Два года назад ему так хотелось поухаживать за ней на

катке. Это была самая грациозная, самая изящная гимназистка, сверстница Ганса, и некоторое время его Самым страстным желанием было заговорить с ней, подать ей руку. Но уж очень он был стеснителен и так и не решился на это. Теперь она жила в пансионе, и он почти забыл ее лицо. Все эти ребяческие истории он вспоминал сейчас как нечто очень далекое, но они были столь красочны, овеяны таким таинственным благоуханием — ничто из пережитого позднее не могло с ними сравниться! Как хорошо было сидеть по вечерам в подворотне у Лизы Нашольд, чистить картошку и слушать ее рассказы или рано утром в воскресенье с закатанными штанишками и нечистой совестью бежать тайком на нижнюю плотину, ловить там раков или ершей — а потом в промокшем до нитки воскресном костюмчике предстать перед отцом и получить от него добрую порцию розог! Сколько было тогда загадочных и необыкновенных вещей и людей, о которых он теперь и думать позабыл. Вот хотя бы холодный сапожник Штромейер с кривой шеей. О нем всем доподлинно известно, что он отравил свою жену. Или овеянный славой своих приключений «господин Бек, с палкой и мешком за плечами обходивший все окрестности городка

— «господином, его величали потому, что когда-то он был богатым человеком, держал четырех лошадей и имел собственный выезд. Правда, Ганс знал этих людей только по имени, но сейчас он смутно чувствовал, что этот темный мирок городских закоулков утрачен им, а опустевшее место не занято ничем живым, ничем, о чем можно было бы помечтать.

Весь следующий день Ганс числился еще в отпуску, и потому, пользуясь своей свободой, он проспал чуть не до обеда. В полдень он сходил на станцию встретить отца. Тот все еще утопал в блаженстве от прелестей столичной жизни, которые он вкусил в Штутгарте.

— Если ты выдержал, то можешь себе пожелать что-нибудь, — «заявил он, будучи, в прекрасном расположении духа. — Ну-ка, подумай!

— Да нет, — со вздохом ответил Ганс, — я наверняка провалился.

— Не болтай вздор? Говори, чего тебе хочется, пока я не передумал.

— На рыбалку, бы мне сходить в каникулы, как прежде. Можно?

— Если выдержал — безусловно, можно.

На другой день — это было воскресенье — лил проливной дождь, грохотала гроза, и Ганс до вече-

ра просидел у себя в комнатке за книгами. Вновь и вновь он припоминал все упражнения, доставшиеся ему на экзаменах, и всякий раз приходил к заключению, что ему просто не повезло. Ведь он мог бы справиться и с гораздо более трудными заданиями. Ну, конечно, он не выдержал! И опять у него голова болит! Он почувствовал в душе все нараставший страх и в конце концов с тяжелым сердцем отправился к отцу.

— Пап!

— Чего тебе?

— Спросить я хотел… Вот ты говорил, чтоб я пожелал себе что-нибудь. Но я лучше не пойду на рыбалку…

— Это еще почему?

— Да потому что я. Знаешь, я хотел спросить, можно ли мне…

— Ну-ну, выкладывай! Не ломай комедию! Что ты; там еще выдумал?

— Если я провалился… Можно мне в гимназию поступить?

Господин Гибенрат оторопел.

— Что? В гимназию? — вдруг взорвался он. — Ты… Да кто это тебе в голову вбил?

— Никто Я просто так говорю. — На лице Ганса отразился смертельный страх, но отец ничего

не замечал.

— Ступай, ступай? — воскликнул он, сопровождая свои слова раздраженным смешком. — Что за сумасбродство! В гимназию! Я пока еще не коммерции советник!

И господин Гибенрат так резко отмахнулся, что Ганс понял — все просьбы бесполезны. В полном отчаянии он вернулся к себе в каморку.

А отец еще долго ворчал: «Вот неслух! Придумал тоже! В гимназию! Эк куда хватил!

С полчаса Ганс просидел на подоконнике, упершись взглядом в свеженатертый пол. Он пытался представить, что же будет, если ему не удастся поступить ни, в семинарию, ни в гимназию и вообще не придется больше учиться. Его поставят за прилавок учеником в какой-нибудь сырной лавочке или определят в контору, и он проживет жизнь, как те скучные и жалкие людишки, которых он так презирает. А ведь он во что бы то ни стало хотел подняться выше их.

Его красивое умное лицо исказилось от гнева и боли. Вдруг он вскочил злобно плюнул, схватил латинскую хрестоматию, изо всей силы швырнул книгу об стену и тут же выбежал из дома, прямо под дождь.

В понедельник утром он пошел в прогимна-

зию.

— Ну, как твои дела? — спросил директор, подавая Гансу руку. — Я тебя еще вчера поджидал. Как сошли экзамены?

Ганс низко опустил голову.

— Что с тобой? Ты плохо отвечал?

— Да, кажется.

— Ничего, потерпи, — утешал его старый директор. — Вероятно, еще до обеда мы получим ответ из Штутгарта.

Время до обеда тянулось невероятно медленно. Из Штутгарта не поступило никаких сообщений, и дома за обедом Ганс давился каждым куском от сдерживаемых рыданий!

В два часа пополудни, когда Ганс вошел в класс, учитель уже стоял за кафедрой.

— Ганс Гибенрат! — громко вызвал он. Ганс вышел вперед, и учитель протянул ему руку со словами:

— Поздравляю тебя, Гибенрат Ты выдержал обще земельный экзамен вторым!

Наступила торжественная тишина. Открылась дверь, и вошел директор.

— Поздравляю, поздравляю! Ну, а теперь что ты нам скажешь?

Внезапно нахлынувшая радость словно пара-

лизовала Ганса.

— Неужели так ничего и не скажешь?

— Если б я знал! — вырвалось у Ганса. — Я бы и первым выдержал!

— Ну, теперь беги домой и сообщи новость отцу, — обратился к нему директор. — В классы можешь больше не приходить, через неделю мы все равно распускаем на каникулы.

Ганс выскочил на улицу, голова у него шла кругом. Базарная площадь была залита солнцем, липы стояли на своих местах, все было как всегда, но Гансу все казалось необыкновенно красивым, каким-то значительным, радостным. Ведь он выдержал! Занял второе место! Но вот схлынула первая волна восторга, и Ганса охватило горячее чувство благодарности. Теперь ему нечего бояться встречи с пастором! Теперь он будет учиться дальше!4 Не грозит ему ни сырная лавка, ни контора Да и на рыбалку он теперь будет ходить!

Отец, встретив его в дверях дома, спросил мимоходом:

— Что новенького?

— Ничего особенного, меня отчислили из прогимназии.

— Как? Почему?

— Потому что я уже семинарист.

— Ах ты, черт возьми Так ты, стало быть, выдержал?

Ганс кивнул.

— И хорошо выдержал?

— Вторым.

Этого отец никак не ожидал. Он не находил слов, только хлопал сына по плечу и, громко смеясь, покачивал головой. Наконец он открыл рот, намереваясь что-то сказать, но так ничего и не сказал и снова покачал головой.

— Здорово! воскликнул он в конце концов. И еще раз: — Здорово!

Ганс бросился в дом, взлетел по лестнице прямо на чердак, распахнул дверцы стенного шкафчика в пустующей светелке, минуту порылся в нем, затем стал вытаскивать всевозможные коробки, мотки шнура, пробки — всю свою рыболовную снасть. Да, ведь надо еще вырезать хорошее удилище!

Ганс спустился к отцу.

— Пап, одолжи мне твой перочинный нож.

— Это зачем?

— Орешник надо срезать для удилища. Отец полез в карман.

— Вот тебе! — объявил он великодушно, весь сияя. — Вот тебе две марки, купи себе нож. Но не

ходи к Ганфриду, а ступай в кузницу.

Вприпрыжку Ганс понесся со двора. Кузнец спросил его об экзаменах, выслушал добрую весть и вручил Гансу свой самый лучший перочинный нож.

Вниз по течению, за мостом, росли густые кусты орешника и ольхи Там-то Ганс после тщательного отбора и вырезал себе превосходно пружинящее удилище без единого изъяна и поспешил домой.

С разрумянившимся лицом и горящими глазами, он принялся готовить снасть, что доставляло ему всегда почти такую же радость, как и само ужение. Всю вторую половину дня и весь вечер он посвятил подготовке. Белые, коричневые; и зеленые лески он тщательно рассортировал, подверг самому придирчивому осмотру, затем, где надо было, распутал, а где и связал. Пробки и перышки поплавков всех видов и размеров были испробованы и подогнаны, приготовлены грузила самых разных весов и снабжены насечками. Настала очередь крючков, которых тоже оказался порядочный запасец. Часть из них Ганс прикрепил к лескам толстыми черными нитками, сложенными в четыре раза, другие — обрезками струн, а остальные — сплетенным конским волосом. К вечеру все было готово, и он

почувствовал, что семь долгих недель каникул ему не придется скучать. Да и впрямь, что может быть лучше, чем сидеть одному на берегу речки, да еще с удочкой в руках!..

Глава вторая

Вот какими должны быть летние каникулы! Над горами голубое, как незабудки, небо, неделя за неделей стоят жаркие, сияющие дни, лишь, изредка налетит недолгая, сильная гроза. Река хоть и протекает по узким расселинам у подножья скал; в тени огромных елей, но все же так нагревается, что можно купаться даже поздно вечером. Вокруг городка витают запахи сена и свежескошенной отавы, редкие полоски ржи сперва желтеют, затем делаются золотисто-коричневыми, а по берегам ручейков поднимаются в рост человека буйно разросшиеся белые зонтики болиголова, вечно усыпанные крохотными жучками. Из его полых стеблей так хорошо вырезывать дудочки и свистки! На опушках цветут ярко желтые пушистые царские свечи. На гибких упругих стеблях покачиваются вербенник и кипрей, окрашивая! склоны в свой лиловато-красный цвет. А в лесу под елками стоят строгие, прекрасные в своей отрешенности, высокие, прямые наперстянки с серебристыми, лапчатыми корневыми листьями и крепким

стеблем, завершающимся красноватым конусом цветка. А грибов! Красный, уже издали сверкающий мухомор, жирный, коренастый белый гриб, фантастический козлобородник, красный тысяченогий ежевик, странно бесцветный, болезненно обрюзгший подъельник. Между лесом и лугами пламенеет, огненно-желтый цепкий дрок, за ним тянется лиловатая полоса вереска, а за ними уже начинаются луга, густо заросшие сердечником, горицветом, шалфеем, коростовиком, — они почти всюду ожидают второго, покоса. В лиственном лесу заливаются зяблики, в ельнике по веткам скачут рыжие белки, на межах, по каменным стенам и в высохших канавках глубоко дышат, наслаждаясь теплом, переливающиеся всеми оттенками зеленые ящерицы, и, ни на минуту не умолкая, звенит над полями оглушительная песня цикад.

Городок в эту пору напоминает большую деревню. В воздухе плывут запахи сена, на улицах гремят высоко нагруженные фуры, далеко разносится звон отбиваемых кос. Не будь здесь двух фабрик, и впрямь можно было бы подумать, что ты попал в деревню.

В первый день каникул, рано поутру, когда старая Анна пришла в кухню готовить кофе, Ганс

уже нетерпеливо дожидался ее. Он помог развести огонь в плите, достал хлеб с полки, залпом проглотил остуженный свежим молоком кофе, сунул ломоть хлеба в карман — и был таков. Добежав до верхней насыпи, он остановился, вытащил круглую жестяную коробочку и принялся ловить кузнечиков. Степенно, не торопясь — здесь начинался большой подъем, — мимо прокатил почти пустой поезд с открытыми окнами и выпустил длинный, веселый шлейф из дыма и пара. Ганс глядел ему вслед и долго следил, как клубится белый пар, быстро рассеиваясь в ясном, пронизанном солнечными лучами утреннем воздухе. Как давно не видел он всего этого! Ганс несколько раз глубоко вздохнул — он жаждал вдвойне наверстать потерянное и столь прекрасное время, превратиться вновь в шаловливого, беззаботного малыша.

Сердце у него, как у настоящего охотника, так и прыгало от предвкушения блаженства, когда он с новенькой удочкой на плече и коробкой, полной кузнечиков в кармане шагал сначала по мосту, а затем садами к самому глубокому месту реки — к Конскому омуту. Там можно было, удобно прислонившись к иве, далеко закинуть леску, там никто не помешает.

Добравшись до цели, Ганс размотал леску, укрепил грузило, безжалостно насадил толстого кузнечика на крючок и, широко размахнувшись, закинул подальше к середине реки. Началась старая и такая знакомая игра: маленькие пескари стайками налетали на приманку, стараясь сорвать ее с крючка. Вскоре от кузнечика ничего не осталось, пришла очередь второго, затем еще одного, четвертого, пятого... Все бережней насаживал их Ганс на крючок, пока наконец не догадался увеличить грузило. И тут к приманке подплыла первая настоящая рыбка. Она дернула ее легонько, отпустила, снова попробовала, а вот и клюнула! Опытный рыбак превосходно чувствует это через леску и удилище: по пальцам словно пробегает ток. Ганс ловко подсек, а затем потихоньку стал выбирать леску. Рыбка сидела крепко, и, когда она показалась из воды. Ганс увидел крупную плотицу. Ее сразу узнаешь по широкому, отливающему желтым белому брюху, треугольной голове и красивым мясисто-красным перышкам нижних плавников. Интересно, сколько она потянет? Но прежде чем Гансу удалось это определить, перепуганная рыба проделала отчаянный вольт, извиваясь, скользнула по зеркалу воды и ушла. Ганс еще видел, как она,

несколько раз сверкнув белым брюшком, исчезла в глубине, словно серебристая стрела. Нет, плохо она, значит, клюнула!

Только теперь у рыбака пробудилось подлинное волнение, страстная охотничья настороженность острый взгляд прикован к тонкому коричневому шнурку там, где он уходит под воду, щеки раскраснелись, движения — скупые, быстрые, ловкие. Вот уже клюнула вторая плотва, и тут же оказалась на берегу, затем небольшой карп, которого Ганс чуть было не пожалел, потом подряд три пескаря Пескари Гансу доставляли особую радость — отец любил полакомиться ими. У них мясистое туловище, покрытое мелкой чешуей, толстая головка с забавными белыми усами, маленькие глазки и изящный хвост. Окраска — зеленая с коричневым отливом, а когда его вытащишь на берег, появляется оттенок стальной синевы.

Тем временем солнце поднялось, пена у верхней плотины светилась снежной белизной, над водой дрожал нагретый воздух, а чуть выше Мукберга недвижимо висело несколько ослепительных облачков. Становилось жарко. Ничто не дает так ощутить жару ясного летнего дня, как несколько спокойных, белых облачков на

синем небосклоне, до того напоенных светом, что невозможно на них долго смотреть. Не будь их, иной раз и не заметил бы, какая стоит жара Нет, не синее небо, не искрящаяся водная гладь, а именно несколько белопенных, туго надутых, как паруса, облачков вдруг дают почувствовать, как печет солнце, заставляют вытереть рукой влажный лоб и поспешить в тень.

Ганс уже менее внимательно следил за поплавком, он уже устал, да и все равно около полудня ничего не поймаешь. Елец, даже самый крупный, к этому времени поднимается вверх — погреться на солнышке. Темными косяками они, сонные, тянут вверх по течению совсем близко к поверхности, а то вдруг, без всякой видимой причины, бросаются врассыпную, и в этот час не клюют.

Ганс прикрепил удочку к низко свисающей ветке, присел на землю и залюбовался зеленой речкой. Одна за другой поднимались из глубины темные спинки: тихие, словно завороженные, рыбки стайками всплывали наверх. Верно хорошо им в теплой водице! Ганс скинул ботинки и опустил ноги в воду — у берега она была как парное молоко. В большом бидоне, плескались пойманные рыбки. До чего они красивы! Малейшее движение — и чешуя отливает белым,

коричневым, зеленым, синим, серебристым, а то и матово-золотым!

Тихо кругом. Издали едва доносится громыхание повозок, переезжающих мост, да стук мельницы. Только непрерывный мягкий шум падающей воды у окутанной белым плотины несется сюда, навевая прохладу и дрему, да тихо булькает вода, обтекая столбы под мостками.

Греческий и латынь, грамматика и стилистика, математика и родной язык — весь бесконечно мучительный круговорот суетливого, загнанного года куда-то исчез, растворившись, в этот жаркий дремотный час. У Ганса немного побаливала голова. Ну, ничего, теперь ведь снова разрешили бегать на реку! Он смотрел на брызги пены над плотиной, щурясь, поглядывал на поплавок, а рядом в бидоне плавали пойманные рыбки. Как хорошо! Порой он вдруг вспоминал, что выдержал общеземельный экзамен и занял второе место, и тут же принимался шлепать босыми ногами по воде, засовывал руки глубоко в карманы и насвистывал какую-нибудь мелодию. По-настоящему свистеть он не умел, И это давно уже огорчало его и служило предметом насмешек однокашников. Получалось только какое-то тихое шипение, но для собственного удовольствия и

этого было достаточно, к тому же здесь его никто не слышит. Все сидят сейчас за партами на уроке географии, и только он один свободен, его уже отчислили. Он один вышел вперед, всех обскакал! Довольно они мучили его! И за что только не доставалось ему: и за то, что он не водился ни с кем, кроме Августа, и за то, что не любил драться, да и в играх неохотно принимал участие. А теперь он их оставил с носом — всех этих кривоногих такс, этих тупоголовых забияк! Его ненависть к ним была настолько велика, что он на минуту даже перестал свистеть и презрительно скривил рот. Ганс смотал леску и рассмеялся: и крошки не было на крючке! Потом выпустил из банки оставшихся в живых кузнечиков. Вяло и безрадостно они отползли в траву. Неподалеку в дубильне ремесленники уже собирались на обед. Пора и ему домой!

— Поймал что-нибудь? — спросил отец за столом.

— Пять штук.

— Да что ты! Смотри не поймай старика, а то потом неоткуда будет малькам взяться.

На этом беседа оборвалась. Да и жарко было очень. Жаль, что сразу после обеда нельзя купаться. А почему, собственно? Говорят, что вредно.

Все, видите ли, вредно. Но Ганс-то лучше знает — не раз вопреки запрету он купался после еды. Однако теперь он не будет делать этого, такие шалости ему не к лицу. Он уже большой. Да что там говорить: на экзаменах к нему обращались на «вы».

В конце концов, ведь не так уж плохо и поваляться в саду под сосной. Тени здесь вдоволь, можно и почитать или полюбоваться бабочками. Так он, и пролежал до двух, даже чуть не заснул. Ну, а теперь пора было бежать купаться!

На лужке оказались только малыши; все, кто постарше, еще сидели за партами, но Ганс их ни капельки не пожалел. Он спокойно разделся и вошел в воду. Больше всего он любил чередовать тепло с прохладой: проплывет немного, поплещется, нырнет, затем полежит на животе в травке, чувствуя, как солнце печет высыхающую спину. Малыши уважительна держались от него поодаль. Да, да, Он стал знаменитостью. И вид-то у него не как у всех остальных. Свободная, красивая посадка головы, тонкая, чуть загорелая шея, умное лицо, высокомерный взгляд. Вообще-то он несколько худ, узкоплеч, на груди и спине можно пересчитать все ребра, и икры на ногах почти незаметны.

Всю вторую половину дня он то лазил в воду, то лежал на солнцепеке. После четырех на прибрежный лужок шумной ватагой примчался чуть не весь его класс.

— А, Гибенрат! Недурно устроился! Ганс сладко потянулся.

— Пожалуй, и правда недурно.

— Когда в семинарию?

— В сентябре только. Сейчас вакации.

Гансу была приятна их зависть. Его даже не задело, когда в задних рядах кто-то, подтрунивая, затянул:

Хорошо живется Шульциной Лизе
До обеда спит в постели
Вот бы так и мне,
Вот бы так и мне!

Он только рассмеялся. Тем временем ребята разделились. Один, с разбега бросился в воду, другие из осторожности решили сперва остыть и лежали на травке. Раздались одобрительные возгласы по адресу особенно долго нырявшего паренька. Какого-то трусишку насильно столкнули в воду, и он заверещал как резаный. Ребята гонялись друг за другом, носились по лугу, визжали, барахтались в воде, обдавали брызгами любителей

принимать лишь солнечные ванны. Шум, гам, плеск стояли над рекой — во всю ее ширину мелькали белые лоснящиеся тела.

Примерно через час Ганс ушел. Спускался теплый вечер, когда так хорошо клюет рыба. До ужина он удил с моста, но почти ничего не поймал. Рыба так и бросалась на приманку, мгновенно пожирала ее, но на крючок ни одна не попадалась. Он ловил на вишню, но, должно быть, ягоды оказались слишком велики и быстро размокали. Ганс решил попытать счастья попозже.

За ужином ему сообщили, что приходило много знакомых с поздравлениями, и тут же продемонстрировали только что полученный местный еженедельник, где под рубрикой «Официальные сообщения» оказалась следующая заметка:

«На приемные конкурсные испытания в духовную семинарию наш город в этом году направил только одного кандидата: Ганса Гибенрата. К нашей радости, нам только что сообщили, что он выдержал экзамен, заняв второе место».

Ганс сложил газетный листок, сунул его в карман и промолчал, но внутри у него все так и ликовало от счастья и гордости. Позже он снова отправился на рыбалку, решив ловить теперь на

сыр: рыбка его любит и хорошо видит в сумерки.

Удилища он не взял с собой. Держать в руках не палку, а саму леску, ловить, «на веревочку, доставляло ему наибольшую радость. Правда, это трудно, но зато намного веселей. Чувствуешь малейшее движение приманки, каждое прикосновение к ней, самый осторожный клев, разгадываешь все повадки рыбы, как будто видишь ее самое. Но это надо уметь, пальцы должны быть чуткими, внимание настороженным, как у хорошего сыщика.

В извилистой, узкой и глубокой долине сумерки спускаются рано. Из-под моста тихо выбегает почти черная река, на нижней мельнице уже горит свет. Над переулками и мостами разносятся песни горожан, слышится говор, немного душно. То и дело плещется рыба, выпрыгивая из воды. В такие вечера она как-то странно взбудоражена, зигзагами носится взад и вперед, выскакивает на поверхность, задевает леску и опрометью бросается на приманку.

Но вот израсходован последний кусочек сыра — и в бидоне у Ганса четыре небольших карпа. Завтра он отнесет их пастору.

В долине потянуло теплым ветерком. Быстро темнело, но небо было еще белесым. Над погру-

зившимся в глубокий сумрак городком черными силуэтами высились колокольня и крыша замка. Должно быть, где-то разразилась гроза — время от времени вдали мягко погромыхивало.

Уже около десяти Ганс забрался в постель; его охватила такая сладкая усталость, так захотелось спать, как давно уже с ним не бывало. Длинная вереница прекрасных, свободных летних дней мерещилась ему в будущем. Таких заманчивых! Он целиком посвятит их прогулкам, рыбалке, купанью, мечтам. Лишь одно его еще точило: жаль, что он не вышел на первое место.

Сейчас же после: завтрака Ганс побежал в пасторский дом, и как раз когда он сдавал свой улов, из кабинета вышел сам хозяин.

— А, Ганс Гибенрат! С добрым утром! Поздравляю, поздравляю от всей души! Что это у тебя?

— Да так, несколько рыбок. Вчера поймал.

— Молодец! Благодарю. Зайди-ка ко мне.

Ганс переступил порог хорошо знакомого ему кабинета пастора. Правда, на таковой он мало походил — не пахло здесь ни геранью, ни табаком. Солидная библиотека состояла в основном из новых, аккуратно переплетенных книг с позолоченными корешками, а не из потрепанных, рассохшихся, источенных червями и засижен-

ных мухами томов, какие обычно встречаешь в пасторских домах. Внимательный наблюдатель по одним названиям хранившихся в большом порядке книг заметил бы веяние нового духа, весьма отличного от того, который царит в пыльных библиотеках почтенных старцев отмирающего поколения. Выставленные обычно на показ в пасторских домах пухлые тома на книжных полках, все эти Бенггели, Этингеры, Штейнгоферы рядом с авторами духовных песнопений, которые так превосходно описал Мёрике в своем «Петушке на колокольне, здесь отсутствовали или, может быть, тонули среди множества произведений вполне современных. Все убранство комнатки — папки с подшитыми газетами, конторка, огромный, заваленный рукописями стол — производило впечатление весьма ученое и солидное; здесь, должно быть, много трудились. Трудились здесь и впрямь немало, однако не столько над проповедями, катехизисом и уроками закона божия, сколько над, исследованиями и статьями для научных журналов и подготовкой собственных сочинений. Мечтательная мистика, созерцательное раздумье были изгнаны отсюда, а вместе и наивное, идущее от сердца богословие, которое, невзирая на поток научных открытий, с

любовью и состраданием склоняется к алчущей. душе народа. Здесь подвергали рьяному критическому разбору священное писание, чинили розыск «исторически существовавшего Христа».

В богословии, как и в других предметах, существует богословие-искусство и богословие-наука — или, во всяком случае, такое, которое хочет быть наукой. Так повелось уже издавна, да и поныне ничего не изменилось. И всегда богословы от науки ради новых мехов забывали о старом вине, а тем временем богословы от искусства, не мудрствуя лукаво, дарили многим утешение и светлую радость. Это и есть вечная неравная борьба между критикой и творчеством, наукой и искусством; где. наука всегда оказывается правой, не принося, однако, никакой пользы, а богословие-искусство неустанно сеет семена веры, любви, утешения, семена прекрасного, предчувствие извечного и всегда находит благодатную почву. Ибо жизнь сильнее смерти, вера крепче сомнения. Ганс впервые сидел в этой комнатке на небольшом кожаном диванчике между конторкой к окном. Пастор обласкал его, просто, как с равным, говорил о семинарии, о том, как там живут и учатся.

— Существенно новое, с чем ты там столкнешь-

ся, — заметил он в заключение, — это греческий язык Нового Завета. Перед тобой откроется целый мир, полный трудов и радости. Поначалу тебе будет трудновато, ведь это уже не аттический греческий, а, новый, исполненный нового духа язык.

Ганс внимательно слушал, с гордостью сознавая, что приобщается к подлинной науке.

— Школьные методы, вводящие в этот новый мир, — продолжал пастор, — разумеется, лишают его многих чар. К тому же в семинарии тебе придется изрядно потрудиться над древнееврейским языком. Если не возражаешь, мы уже сейчас, в каникулы, начнем им заниматься. Тогда у тебя останется в семинарии больше времени и сил для других предметов. Мы можем вместе прочитать несколько глав от Луки, и ты как бы мимоходом, играючи выучишь язык. Словарь для тебя у меня найдется. Это у тебя отнимет час, ну два в день, ни в коем случае не более, ибо самое важное для тебя теперь — отдых. Разумеется, это всего лишь мое предложение — мне отнюдь не хотелось бы портить тебе прекрасные каникулярные дни.

Конечно, Ганс согласился. Правда, час, посвященный Луке, показался ему этакой тучкой на сияющем голубом небе свободы, но он постес-

нялся отказать пастору. К тому же так, походя, выучить на каникулах новый язык будет для него скорее удовольствием, нежели трудом. Перед всем новым, с чем ему предстояло столкнуться в семинарии, его теперь уже брал страх, а особенно пугал древнееврейский.

Без тени неприязни он покинул пасторский дом и по лиственной аллее добрался до леса. Из его души улетучилась всякая озабоченность, и чем больше он обдумывал предложение священника, тем приемлемей оно представлялось ему. Он хорошо понимал, что в семинарии ему придется трудиться еще упорнее, вложить в свои занятия еще более честолюбия, если он намерен и там оставить своих сверстников, позади. А этого он решил добиться во что бы то ни стало. Почему, собственно? Этого он и сам не знал. Прошло уже три года с тех пор, как на него обратили внимание, и все эти три года педагоги, пастор, отец, а особенно директор, подзадоривали, подстрекали его, не давали дух перевести. Переходя из класса в класс, он неизменно был всеми признанным первым учеником. Постепенно он и сам стал видеть свою задачу в том, чтобы подняться выше всех и даже близко не подпускать никого. Глупого страха перед экзаменами теперь как не бывало.

И все же каникулы были прекрасны, прекрасней всего! Как необычайно красив лес в этот ранний час, когда здесь не встретишь ни души, когда ты совсем один! Колонна к колонне высятся могучие стволы сосен, образуя своими сине-зелеными кронами огромный свод убегающего вдаль бесконечного зала. Подлеска почти нет, только изредка попадаются заросли малины, но зато ты часами шагаешь по мягкой, точно устланной ковром, мшистой земле, кое-где поросшей вереском и черникой. Роса уже сошла, и между прямыми, как мачты, деревьями висит утреннее марево — своеобразная смесь испарений, солнечных лучей, запаха мхов, грибов и смолы, — так вкрадчиво, подобно легкому обмороку, действующее на все наши чувства.

Ганс бросился на мох, обобрал густые кусты черники, слушая, как то в одном, то в другом конце долбит дятел, кукует ревнивая кукушка. Между чернеющими кронами елей проглядывало синее, без единого облачка небо, ствол к стволу теснились тысячи и тысячи деревьев, образуя вдали сплошную темно-бурую, мрачную стену; то тут, то там на мху весело играл, солнечные блики.

Ганс ведь хотел совершить большую прогулку, дойти по меньшей мере до Лютцельской усадьбы

или до Шафранного луга, а сам лежал во мху и ел чернику, лениво поглядывая на теплое марево. Понемногу он и сам начал удивляться своей усталости. Раньше он с легкостью совершал трех и даже четырехчасовые походы. Нет, он сейчас же встанет и пойдет дальше. Несколько сотен шагов он действительно прошел. Но вот уже снова, сам не зная, как это случилось, он лежал во мху. Взгляд его, щурясь, скользил меж стволов и крон, по темно-зеленым кустам черники. Ах, какую истому навевает этот лесной воздух!

Когда он к обеду вернулся домой, у него опять разболелась голова. Болели и глаза — солнце! так безбожно слепило на лесной тропинке! Удрученный, он проторчал почти до самого вечера дома и, только снова выкупавшись, почувствовал прилив бодрости. Но теперь пора было бежать к пастору.

По дороге Ганс увидел сапожника Флайга, сидящего у окна мастерской на своей треноге. Тот предложил ему зайти».

— Куда держишь путь, сын мой? Что это тебя не видно совсем?

— К пастору иду.

— Ты все еще к нему ходишь? Экзамены-то кончились.

— Теперь за другое примемся, Новый Завет. Новый Завет — он ведь на греческом языке написан, но совсем не на том греческом, что мы учили. Вот его я и буду теперь учить.

Сапожник сдвинул картуз на затылок, нахмурил свой большой лоб и, тяжело вздохнув, тихо промолвил:

— Послушай, Ганс, что я тебе скажу. До сих пор-то я молчал из-за твоих экзаменов, но теперь должен тебя предупредить. Пора тебе знать, что наш пастор человек неверующий. Он тебе столько всякого наговорит, «доказывать станет, будто в святом писании одни выдумки, ложь одна, а как прочтешь с ним Новый Завет, то увидишь, что и сам, изверился, не знаешь даже как.

— Но, дядюшка Флайг, я ведь буду учить с ним только греческий. Мне его все равно надо проходить в семинарии.

— Это ты так думаешь. А оно ведь не все равно, учишься ты читать библию с благочестивыми и добросовестными наставниками или с человеком, который сам в бога не верует.

— Да никто же точно не знает, что он не верит в бога.

— Знают, Ганс, знают. К сожалению, это так.

— Но что ж мне делать? Мы уже договорились,

что я приду.

— Тебе и надо пойти к нему. Но если он будет тебе говорить, что библия — дело рук человеческих и выдумки одни и все в ней значащееся не откровение духа святого, ты приходи ко мне, и мы с тобой поговорим. Ну как, согласен?

— Да, дядюшка Флайг. Но я не думаю, чтоб все оно так и было.

— Вот увидишь. Вспомнишь тогда обо мне!

Пастора не оказалось дома, и Гансу пришлось ожидать его в кабинете. Разглядывая надписи на золотых корешках, он раздумывал над тем, что сказал ему сапожник. Подобные высказывания о пасторе и вообще о новомодных священниках он слышал уже не раз. Но теперь он впервые почувствовал, что и сам вовлечен во все эти споры. Любопытство и нетерпение охватили его. Но таким важным и страшным, как сапожнику, все это ему не представлялось, напротив, он почуял здесь возможность проникнуть в великие древние тайны. Вопросы о вездесущии господнем, о загробной жизни души, о дьяволе и преисподней не раз увлекали его, когда он только что начал ходить в школу, и рождали в его воображении фантастические картины. Но все это в последующие суровые, полные труда

годы как-то заснуло, и его ученическая вера в спасителя пробуждалась, делаясь чем-то лично важным, лишь от случая к случаю во время бесед с мастером Флайгом. Ганс невольно улыбнулся, сравнив его с пастором. Непоколебимости сапожника, обретенной тяжелым и горьким опытом, мальчик, разумеется, понять не мог, к тому же Флайг был хотя и рассудительным, но, в сущности, недалеким и односторонним человеком, и многие смеялись над его одержимостью. На сходках своих приверженцев-сектантов он выступал строгим, однако справедливым судьей, он был им и братом, толковал библию, как ему заблагорассудится, и даже в окрестных деревнях устраивал свои назидательные чтения, и все же оставался при этом скромным ремесленником, таким же ограниченным, как все другие. Пастор же был не только красноречивым, ловким оратором и проповедником, но и серьезным, трудолюбивым ученым. Ганс с уважением взглянул на полки, уставленные книгами.

Вскоре явился и сам хозяин, сменил длиннополый сюртук на легкую черную домашнюю куртку, подал своему ученику греческий текст евангелия от Луки и велел читать вслух. Все было не так, как когда-то на уроках латыни. Они прочитали

несколько изречений, перевели их слово в слово, после чего на примерах пастор красноречиво и убедительно раскрыл своеобразный дух языка «рассказал о том, как и когда возникло евангелие, и за один час внушил мальчику совершенно новое понятие относительно изучения и разбора текстов. Понемногу Ганс начал представлять себе, какие загадки, какие задачи таятся в каждой строке, каждом слове и как с древних времен тысячи мыслителей, ученых и самоучек ломали голову над этими загадками. И, ему почудилось, будто и он в этот час был принят в круг искателей правды.

Ему вручили словарь, грамматику, и весь вечер он дома просидел над книгами. Теперь-то он понял, через какие годы труда и знаний ведет путь к истинной науке, и он был готов одолеть их, не послабляя себе ни в чем. О сапожнике Флайге он даже и не вспомнил.

На несколько дней Ганс с головой погрузился в новые занятия. Каждый вечер он уходил к пастору, и от урока (к уроку подлинная ученость представлялась ему все прекрасней, трудней и вместе с тем заманчивей. Рано утром он бегал на рыбалку, после обеда — купаться, но в остальное время почти не отлучался из дому. Честолюбие,

потонувшее было в страхе перед экзаменами, пробудилось вновь и не давило ему покоя. Но одновременно вновь появилось и это странное ощущение в голове, так часто возникавшее в последние месяцы: то была не боль, нет, а скорее какое-то ликующее биение пульса, бурное волнение духовных сил, порывистое устремление вперед. Правда, после болела голова, но покамест длилась эта легкая лихорадка, он читал взахлеб, и занятия быстро подвигались вперед; играючи, почти не нуждаясь в словаре, одолевал он самые трудные места в сочинениях Ксенофонта, одна фраза, которого обычно отнимала не менее, четверти часа. С радостно обостренным умом схватывал он на лету страницу за страницей сложнейшие тексты. Такие лихорадочные занятия и все возрастающая жажда познаний сочетались с гордой самоуверенностью. Казалось, будто школьная скамья, классные наставники и все годы ученичества, остались далеко позади и он уже идет собственным путем к высотам знания и мастерства.

Все это вновь «нахлынуло на него, а вместе и тот легкий, часто прерываемый сон с такими странно четкими сновидениями. Он просыпался с головной болью, не мог больше заснуть, и сто-

ило ему подумать о том, насколько он обогнал своих товарищей, с каким уважением, даже восхищением, на него взирают учителя и директор, как тут же им овладевала высокомерная гордыня и буйное нетерпение еще быстрее пробиваться вперед.

Господину директору доставляло истинное наслаждение направлять и пестовать это пробужденное им самим, «столь прекрасное честолюбие. Пусть никто не говорит, что учитель — это бессердечное существо, закоснелый бездушный педант! О нет, когда учитель видит, что в ребенке наконец просыпается талант, так долго и тщетно побуждаемый, видит, как мальчик отбрасывает в сторону деревянный меч; лук, пращу, забывает детские игры, как он начинает рваться вперед, как целеустремленный труд превращает толстоморденького увальня в исхудавшего и мрачного полуаскета, как лицо, обретая одухотворенность, взрослеет, взгляд делается глубоким, сосредоточенным, руки белыми и спокойными, — тогда душа учителя ликует от обуявшей его гордости. Его долг, обязанность, возложенные на него государством, в том и заключаются, чтобы обуздать грубые силы, искоренить инстинкты природы и на их месте посеять смиренные, весьма уме-

ренные и одобренные властями идеалы. Не будь этих усилий школы, как много безудержно стремящихся вперед искателей или же ушедших в бесплодное созерцание мечтателей выросло бы вместо нынешних всем довольных бюргеров и чиновников-карьеристов! Ведь в каждом из них таилось нечто дикое, необузданное, варварское, и это чадо было сломить, погасить, опасный огонь, затоптать его. Человек, каким его создала природа, непостижим, замкнут, опасен, подобен потоку, низринувшемуся с неведомых высот, дремучему лесу, в котором нет порядка и благоустроенных дорог. И так же как девственный лес необходимо прежде всего проредить, очистить, силой обуздать «его неудержимый рост, так и школа призвана сломить все естественное в человеке, силой победить его и обуздать. Задача ее и состоит в том, чтобы в соответствии с одобренными властями принципами сделать человека полезным членом общества, пробудить в нем те способности, полное развитие которых впоследствии венчает столь тщательно продуманная муштра, казармы.

Как прекрасно развивается, например, маленький Гибенрат. Ведь баловство и детские игры он и сам почти совсем забросил, давно уже от него

никто не слышит глупых смешков на уроках, а от возни в саду, крольчатника и страсти к рыбалке его тоже быстро отучили.

Однажды вечером господин директор самолично явился в дом Гибенратов. Вежливо отделавшись от польщенного хозяина, он зашел в комнатку Ганса и застал его за евангелием от Луки.

— Превосходно, Гибенрат. Рад, что ты снова прилежно занимаешься, — ласково обратился он к своему воспитаннику. — Но почему ты не навещаешь меня? Я ждал тебя все эти дни.

— Да я бы давно зашел, — извинился Ганс, — но мне так хотелось принесли вам хоть одну хорошую рыбу.

— Рыбу? Какую еще рыбу?

— Карпа или еще какую-нибудь.

— Ах, вот оно что! Ты, стало быть, опять ходишь на речку удить?

— Хожу, но только редко. Папа разрешил.

— Гм… Так, так. И тебе это доставляет удовольствие?

— О да.

— Превосходно, превосходно. Ты свои каникулы честно заслужил. И, вероятно, не испытываешь никакого желания немного позаниматься?

— Нет, почему же, господин директор.

— Я не желал бы, разумеется, заставлять тебя делать что-нибудь, чего тебе самому не хочется.

— Нет, что вы, господин директор.

Директор несколько раз тяжело вздохнул, погладил свою жиденькую бороденку и опустился на стул.

Видишь ли, Ганс, — начал он, — дело обстоит вот как. Опыт подсказывает нам, что часто, особенно после удачно выдержанного экзамена, наступает внезапная перемена. В семинарии тебе, предстоит освоить несколько новых предметов. Ты там встретишь учеников, которые за время вакаций подготовились к этому. И это нередко бывают именно те, кто отнюдь не блестяще выдержал испытания. Именно они-то за счет почивавших во время каникул на лаврах внезапно вырываются вперед. — Директор снова вздохнул. — У нас в прогимназии тебе ничего, не стоило всегда выходить в первые. Однако в семинарии ты столкнешься с одаренными в весьма прилежными сверстниками, которые не дадут себя так легко обогнать. Ты понял меня?

— Да, да.

— Вот я и хотел предложить тебе немного подготовиться: в каникулы. Разумеется, в меру! Ты

теперь имеешь право, даже обязан как следует отдохнуть. Но час, максимум два в день ты мог бы посвятить занятиям. В противном случае можно выбиться из колеи, и впоследствии понадобятся недели, чтобы наверстать упущенное. Как ты считаешь?

— Если? вы будете так добры… Я готов, господин директор.

— Превосходно. В семинарии наряду с древнееврейским произведения Гомера откроют перед тобой новый мир. Если мы уже теперь подведем под это солидный фундамент, ты прочтешь его с удвоенным наслаждением, проникнешь в самые глубины его творчества. Язык Гомера, старинный ионийский диалект, вкупе с гомеровской просодией — это нечто совершенно самобытное, целый мир в себе, он требует прилежания и основательных знаний, ежели мы вообще намерены получить истинное удовольствие от поэзии Гомера.

Разумеется, Ганс охотно согласился проникнуть и в этот новый мир, пообещав приложить к тому все усилия.

Но самое страшное-то, оказывается, было еще впереди. Директор откашлялся и вкрадчиво продолжал:

— Откровенно признаюсь тебе, Гибенрат, я был бы очень рад, если бы ты уделил несколько часов и математике. Я не хочу этим сказать, что ты дурно знаешь ее, но все же сильной твоей стороной, она никогда не была. В семинарии вам начнут преподавать алгебру и геометрию, и тут были бы весьма полезны несколько подготовительных лекций.

— Слушаюсь, господин директор.

— Мой дом всегда открыт для тебя, ты это прекрасно знаешь. Для меня дело чести сделать из тебя порядочного человека. Но что касается математики, то тебе придется попросить отца, чтобы ой разрешил тебе взять несколько частных уроков у нашего профессора. Ну, скажем, три или четыре раза в неделю.

— Слушаюсь, господин директор.

Не успел Ганс оглянуться, как его занятия были уже в полном разгаре, и теперь, когда он убегал на часок поудить рыбу или просто прогуляться, у него на душе кошки скребли. Час, когда Ганс, обычно бегал купаться, великодушный преподаватель математики избрал для своих уроков. А в занятиях алгеброй Ганс при всем желании не находил никакого удовольствия. Уж очень обидно было после полудня в самое пекло, вместо

того чтобы бежать на прибрежную лужайку, плестись в жаркий пыльный кабинет профессора и с усталой головой и пересохшим от жажды горлом бубнить под жужжание мух: «a + b, и «a — b». Что-то гнетущее, сковывающее было во всей этой атмосфере, и в плохие дни она порождала чувство безысходности и отчаяния, С математикой у Ганса вообще происходило, что-то странное. Он вовсе не принадлежал к числу тех учеников, которые не в силах ее постигнуть и для, которых она навсегда остается тайной за семью печатями. Нет, порой ему удавалось решить задачу хорошо, даже с некоторым изяществом, и он радовался этому. В математике нравилось ему, что она лишена фальши, что в ней отсутствует возможность виляния, что здесь нельзя отходить от темы и забредать в смежные и обманчивые области. По этой же причине он так любил латынь. Язык этот ясен, точен, Почти не допускает кривотолков. Однако; когда в задачах по арифметике даже все ответы сходились, радости от этого было мало. Занятия математикой представлялись Гансу похожими на путешествие по ровной дороге; все время про двигаешься вперед, каждый день узнаешь что-то новое, чего накануне ты еще Не знал, но на гору, откуда перед тобой вдруг откры-

лись бы обширные горизонты, так никогда, и не взберешься.

Насколько оживленней проходили занятия у директора. Правда, в устах пастора искаженный греческий текст Нового Завета звучал куда великолепней и привлекательней, нежели юношески свежие поэмы Гомера у директора. Но ведь это был Гомер, в нем после преодоления первых же трудностей неожиданно открываешь такие прелести, получаешь такое удовольствие, что тебя непреодолимо влечет все дальше и дальше! Частенько Ганс, застряв на трудно переводимом, но таинственно и прекрасно звучащем стихе, полный трепетного волнения, лихорадочно спешил отыскать нужный ключ в словаре, и тот открывал ему вход в этот светлый, радостный сад.

Домашних уроков у него снова было вдоволь, и не один вечер он засиживался допоздна над. какой-нибудь заковыристой задачкой. Папаша Гибенрат с гордостью отмечал подобное усердие. Его неповоротливому уму мерещился идеал столь многих ограниченных людей — видеть на древе своего рода буйно растущую ветвь, поднявшуюся так высоко, что он взирал бы на нее с подобострастным уважением.

В последнюю неделю каникул директор и

пастор внезапно стали проявлять разительную мягкость и озабоченность. Они посылали мальчика гулять, прекратили уроки и всячески подчеркивали, сколь важно Гансу вступить на новую стезю свежим и вполне отдохнувшим.

Но сбегать на рыбалку Гансу удалось всего лишь два-три раза. Часто болела голова, и он без должного внимания сидел на берегу реки, зеркало которой теперь уже отражало светло-голубое небо ранней осени Почему, собственно, он в свое время так радовался летним каникулам, для него осталось загадкой. Теперь он был рад тому, что они кончились, что скоро он уедет в семинарию, где начнется совсем другая жизнь, будут, другие учителя. Ну, а так как он не проявлял уже никакого интереса к ужению, то рыба у него почти не клевала, и после однажды оброненной отцом шутки он вовсе перестал бегать на речку и снова убрал всю снасть в шкафчик.

Лишь в, самые последние дни ему вдруг Пришло в голову, что он давно на навещал сапожника Флайга, но и теперь ему пришлось почти заставить себя пойти к нему.

Вечерело, мастер сидел у окна, держа на каждой коленке по малышу. Несмотря на открытое окно, все вокруг было пропитано запахом кожи и

сапожного вара. Смущенный, Ганс положил руку на широкую, жесткую правую ладонь дядюшки Фланга.

— Ну, как твои дела? — спросил тот. — К пастору-то исправно бегал?

— Да, я ходил к нему каждый день и многому научился.

— Чему?

— Мы занимались греческим, ну, да и другим тоже.

— А ко мне тебе не хотелось зайти.

— Хотелось, дядюшка Флайг, да все никак не удавалось У пастора каждый день по часу, у директора по два и четыре раза в неделю ходил к учителю математики.

— Это в каникулы-то? Какая глупость!

— Не знаю я. Так. уж мне велели. Ученье мне ведь легко дается.

— Может быть, и легко, — заметил Флайг и пощупал руку Ганса. — Ученье — дело хорошее, ничего не скажешь. Да уж очень у тебя ручонки тощенькие. И с лица ты спал. Голова-то болит?

— Бывает.

— Безобразие, Ганс, да и грех. В твои годы надо на воле бегать побольше, роздых чтобы был. Не зря ведь вас на, каникулы распускают, не для

того, чтобы вы дома торчали и уроки твердили. От тебя осталась одна кожа да кости.

Ганс улыбнулся.

— Ну что ж, своего ты добьешься. Однако тут они лишку хватили. А как уроки у пастора? Что ты о них скажешь? Что он тебе говорил?

— Говорил он о многом, но страшного ничего не было. А знает он сколько!

— И ни разу о библии непочтительно не отзывался?

— Нет, ни разу.

— Это хорошо. Так вот что я тебе скажу лучше руки ноги себе поломать, нежели душу покалечить. Вот ты избрал себе духовное поприще. Это прекрасная, однако не легкая служба, и нужен для нее другой народ, не такой, как нынешняя молодежь. Быть может, ты и подходишь для нее и со временем из тебя выйдет наставник и утешитель душ От всего сердца желаю тебе этого и не премину помолиться за тебя.

Мастер поднялся и, положив обе руки на плечи Ганса, произнес:

— Прощай, Ганс, делай добро. Да сохранит и благословит тебя господь! Аминь.

Торжественность Флайга, молитвенный тон, обращение к нему на верхненемецком диалекте

подействовали на Ганса угнетающе и вызвали чувство неловкости. Пастор, расставаясь с ним, ничего подобного не говорил.

Несколько оставшихся дней, заполненных предотъездной суетой и прощальными визитами, пролетели незаметно. Ящик с постельными принадлежностями, одеждой, бельем и книгами был отправлен вперед; наконец уложили дорожный сак, и в одно прохладное осеннее утро отец с сыном покатили в Маульбронн. Странно было у Ганса на душе, как-то тоскливо, когда, покинув отчий дом и родные места, ехал он в семинарию, где все все было таким чужим и незнакомым.

Глава третья

На северо-западе Швабии меж лесистых холмов и небольших тихих озер раскинулись обширные владения цистерцианского[4] монастыря Маульбронн. Просторные, добротные старинные службы сохранились во всем их великолепии и внутри и снаружи и могли бы быть заманчивым местом для жилья, ибо с течением веков между благородными постройками и безмятежно прекрасным зеленым их окружением установилась дивная гармония.

Тот, кто желает посетить монастырь, попадает через живописные ворота в высокой ограде на большой и очень тихий двор. Под сенью старых, могучих деревьев здесь плещется фонтан, по обеим сторонам высятся старинные каменные здания, а вдали виден собор, выдержанный в позднероманском стиле, с грациозным притвором восхитительной, несравненной красоты, называемым раем, На мощной кровле храма точно скачет острая, как игла, веселая колоко-

[4] Примечания: 4

Цистерцианцы — католический монашеский орден, основанный в X веке во Франции.

ленка, и невозможно понять, как удерживает она тяжелый колокол. Неповрежденная крытая галерея — само Произведение искусства — прячет, словно жемчужину, изумительную часовню с источником. К собору примыкает трапезная магистров с высоким, благородным стрельчатым сводом, далее — Молельня, приемная, трапезная братии, жилой домик игумена, и две церковки завершают круг массивных сооружений. Живописные ограды, эркеры, порталы, палисадники, мельница, жилые помещения легким, веселым венком расположились вокруг мощных старинных зданий. Тих и пустынен обширный двор, будто во сне играющий тенями своих деревьев; лить в послеполуденную пору на нем мимолетно возникает какая-то видимость жизни. Из монастыря высыпает стайка подростков и разбегается по просторной площадке, слышатся разговоры, крики, смех, изредка молодежь играет в мяч, но по истечении часа все, будто по мановению ока, бесследно исчезают за толстыми стенами. На этом дворе кое-кому должно быть, приходило в голову, что здесь недурно прожить хороший отрезок жизни, здесь должно расти нечто живое, дарящее счастье, здесь добрые и мудрые люди должны думать свои светлые думы, создавать

прекрасные, исполненные радости творения.

Давно уже этот великолепный, затерянный средь лесов и холмов монастырь отвели под протестантскую духовную семинарию, дабы красота и покой окружали юные, столь восприимчивые души. К тому же молодые люди здесь не подвержены беспокойному влиянию семьи и города, их не тревожат пагубные картины людской суеты. А это дает возможность годами представлять им изучение древнееврейского и греческого языков и других предметов как единственную цель жизни, направлять всю жажду юных сердец лишь на возвышенные занятия в радости.

Однако следует отметить еще один важный фактор: жизнь в интернате побуждает к самовоспитанию, к чувству общности. Учредители, за, чей счет здесь учатся и содержатся семинаристы, тем самым позаботились о том, чтобы из воспитанников вырастали люди весьма определенного толка и позднее их всегда можно была бы узнать; это тонкий и надежный способ клеймения, глубоко продуманная форма крепостной зависимости. За исключением отдельных дичков, время от времен, вырывающихся на волю, каждого швабского семинариста легко признать за такового, как бы долго он потом ни прожил. Сколь разнообразны

люди, и сколь разнообразны условия, в которых они формируются И именно это существующий режим, невзирая на лица, сглаживает у своих подопечных при помощи некоего духовного мундира, а быть может, и ливреи.

У кого при вступлении в монастырскую семинарию еще жива была мать, тот всю жизнь с благодарностью и умиленной улыбкой будет вспоминать о тех днях. Ганс Гибенрат был Лишен этого счастья и потому без всякого умиления пережил свой приезд, но он наблюдал, как чужие матери хлопотали около своих детей, и странное у него было при этом чувство.

В длинных коридорах, где были свалены ящики и корзины, подростки под наблюдением родителей распаковывали и укладывали в стенные шкафы свои вещи. Каждому из вновь прибывших выделили в, коридоре шкаф под номером и полку с тем же номером в комнатах для занятий Сыновья и родители то и дело опускались на колени, чтобы взять из ящика очередную вещь, а фамулус расхаживал между ними, словно вельможный князь, время от времени раздавая доброжелательные советы. Курточки и панталоны надлежало разгладить, рубашки сложить, книги разобрать, башмаки и шлепанцы выста-

вить в ряд. В основном экипировка была почти у всех одинаковая, так как минимум белья и других предметов обихода был заранее предписан. Вытаскивались на божий свет и устанавливались в умывалке жестяные тазы с нацарапанными на них именами владельцев, рядом укладывались губки, мыльницы, гребенки. Помимо того, каждый привез с собой керосиновую лампу, бачок с керосином, а также ложку, нож и вилку.

Мальчики, все как один, были взбудоражены и проявляли необыкновенную деловитость. Палаши с улыбкой взирали на них, пытаясь иногда помочь, частенько поглядывали на карманные часы и не раз предпринимали попытки улизнуть — они явно скучали. Душой всего оказались матери вещь за вещью они перебирали одежду, белье, поправляли тесемки, разглаживали, аккуратно укладывали в шкафчики, снова вынимали и опять укладывали, стараясь прибрать как можно лучше и удобней, и все это перемежалось ласковыми советами.

— Новые рубашки береги, они три марки пятьдесят стоили. Грязное белье посылай в конце месяца по железной дороге, а если срочно — то почтой Черную шляпу надевай только по воскресеньям.

Полная, добродушного вида женщина, примостившись на высоком ящике, наставляла своего отпрыска в искусстве пришивать пуговицы.

— Затоскуешь по дому, — слышалось на другом конце, — пиши. До рождества осталось не так уж много!

Хорошенькая, моложавая мамаша оглядела полный шкафчик своего сынка и ласково погладила стопки белья, курточку, штанишки. Покончив с этим, она принялась гладить своего коренастого, толстощекого мальчугана. Тот, боясь прослыть неженкой, конфузился, отворачивался, хихикая, и для пущей важности засунул обе руки глубоко в карманы. Разлука была для матери явно тяжелее, чем для сына.

Другие, напротив, растерянно и беспомощно смотрели на хлопочущую мать, и по одному их виду можно было заключить, что охотнее всего они уехали бы вместе с нею домой. Но все в одинаковой мере переживали внезапно вспыхнувшие чувства нежности, привязанности, а то и страха перед разлукой. Однако робость перед свидетелями и в то же время сознание впервые пробуждающегося мужского достоинства заставляли юношей подавлять в себе этот порыв. кое-кто больше всего хотел бы разреветься, а сам

принимал выражение нарочитой беззаботности, делая вид, что все это его ничуть не касается Мать только понимающе улыбалась.

Почти у каждого в ящичке, кроме всего необходимого, было и какое-нибудь лакомство — мешочек с яблоками, или круг копченой колбасы, или корзиночка с печеньем и тому подобное Некоторые прихватили коньки Великую сенсацию произвел маленький шустрый мальчуган, который извлек из своего ящика целый окорок и даже не старался скрыть свое богатство.

Легко можно было отличить таких, кто прибыл прямо из дому, от тех, которые и прежде жили в пансионах и других воспитательных учреждениях. Но и эти последние были явно взволнованы.

Со свойственной ему практичностью и умом, господин Гибенрат помогал сыну распаковывать ящик. Он справился с этим делом раньше, чем многие другие, и теперь стоял в коридоре рядом с Гансом, беспомощно оглядываясь и явно скучая. Услыхав, как кругом отцы чему-то поучают своих детей, о чем-то напоминают им, а матери утешают, дают добрые советы застенчиво слушающим сынкам, он тоже счел своим долгом сказать Гансу в качестве Напутствия несколько золотых слов. Долго он раздумывал, переступая

с ноги на ногу подле притихшего сына, и вдруг разразился целым потоком прописных истиц, обычно произносимых в торжественных случаях. Сын молча, с удивлением слушал его пока не заметил улыбку на лице неподалеку стоявшего пастора. Смутившись, он увлек отца в сторону.

— Итак, ты приумножишь славу нашего рода, будешь строго выполнять указания начальников?

— Ну конечно.

С облегчением вздохнув, господин Гибенрат наконец умолк. Теперь и впрямь оставалось только скучать. Ганс стоял как потерянный. Он то поглядывал с затаенным любопытством в окно на опустевшую старинную галерею, схимническое достоинство и покой которой так странно противоречили шуму и гаму молодежи здесь, наверху, то робко наблюдал за деловитыми сверстниками, пока еще совсем незнакомыми. Его штутгартский товарищ по экзаменам, должно быть, провалился, невзирая на свою изощренную геппингенскую латынь, — во всяком случае, Ганс нигде его не приметил.

Ни о чем не думая, он рассматривал своих будущих однокашников. Как ни сходна была экипировка почти у всех мальчиков, все же легко

можно было отличить горожан от крестьянских парней, отпрысков состоятельных семей от бедняков. Правда, дети людей с достатком редко шли в семинарию, и это говорило как о гордости или интеллигентности родителей, так и о даровитости их сыновей. Впрочем, случалось, что иной профессор или преуспевающий чиновник, вспомнив годы, проведенные в монастыре, и отправит своего сына в Маульбронн, и среди четырех десятков черных костюмчиков некоторые выделялись своим покроем, да и качеством материала, но еще больше молодые люди отличались друг от друга манерами, говором и поведением. Тут можно было встретить сухопарых, выделявшихся угловатыми движениями уроженцев Шварцвальда, пышущих здоровьем, большеротых сыновей сурового Альба[5], с соломенно-желтыми вихрами, егозливых унтерландцев, таких общительных и веселых, вылощенных штутгартцев в остроносых сапожках с испорченным, то бишь утонченным, произношением. Примерно пятая часть этой цветущей молодежи носила очки. На макушке у одного из штутгартских маменькиных сынков, худенького, изящного подростка, красовалась

[5] Примечания: 5
Горы на юго-западе Германии.

отличная фетровая шляпа, да и сам он выделялся своей воспитанностью, еще не подозревая, что это несколько необычное украшение заставит наиболее задорных из его товарищей в первый же день избрать его мишенью для своих проделок и острот.

Зоркий наблюдатель легко угадал бы, что, эта группка застенчивых ребят являла собой лучшее из лучших молодежи края. Наряду с середнячком — их легко было распознать на нюрнбергской школьной муштре — попадались как хрупкие, так и крепкие, гордое в своем достоинстве ребята, в юношеских душах которых, вероятно, еще дремали, потребности более возвышенные». Возможно, был среди них один-другой из тех хитрых и настойчивых швабов, кои с давних времен умели пробиться в свет я, невзирая на свой несколько суховатый и сумасбродный образ мыслей, становились во. славе новых и влиятельных направлений. Ибо Швабия поставляет себе и всему миру не только превосходно вышколенных богословов — ее сыны гордятся также традиционным даром к философской умозрительности; из ее лона вышел не один видный пророк, но немало и лжеучителей. Вот почему сей плодовитый край, великие политические традиции кото-

рого уже давненько заглохли и который ныне безобидным, цыпленком льнет к остроклювому северному орлу, все же в теоретических областях — богословии и философии — еще оказывает влияние на мир. Вместе с тем в народе этом издревле гнездится любовь к изящной форме и мечтательной поэзии, и время от времени из него выходят стихотворцы и поэты отнюдь не дурные. Теперь, правда, их мало ценят, ведь и в поэзии ныне верховодят наши северные господа-братья, которые почитают южный говор неизящным и задают своим острым «языком тон, настраивая его то на сельский лад, то на лад берлинских щеголей, и, уж во всяком случае, превосходят нашу несколько старомодную волынку в умении отбивать барабанную дробь. К сожалению, ни у нас, швабов, ни в других местах Никто не восстает против этого господства и даже не пытается сбить с упомянутых берлинцев весьма свежий налет патины. Но мы охотно предоставляем каждому свое: нам, швабам, наш древний Штауф, над которым в притихших лесах, дремля, грезят остатки былого величия, а им — их. Цоллерн, где хорошо укатанные, тщательно подметенные дороги пробегают мимо начищенных до блеска пушек. Ведь как то, так и другое имеет свои прелести.

Если на порядки и нравы маульброннской семинарии взглянуть со стороны, то ничего швабского там не приметишь, напротив, вместе с латинскими названиями, сохранившимися еще с, монастырских времен, кое-где теперь появились и классические надписи. «Форум», «Эллада, «Афины, «Спарта», «Акрополь, — значилось на дверях комнат, в которых разместились воспитанники». И то, что последняя и самая маленькая из них называлась «Germania», пожалуй, указывало на стремление, елико возможно, вместо германской действительности создать картину римско-греческой, мечты. Но и это проявлялось лишь внешне, и древнееврейские наименования были бы здесь куда более кстати. Занятное стечение обстоятельств привело к тому, что в комнате с надписью «Афины», собрался отнюдь не самый великодушный и красноречивый народ, а несколько весьма скучных зубрил, «Спарту» же населили не воины и аскеты, а кучка веселых толстоморденьких ребят. Ганс Гибенрат вместе с девятью сверстниками попал в «Элладу».

Странно у него было на душе, когда он вечером вместе с девятью новыми товарищами впервые переступил порог холодной, голой спальни и улегся на узкой койке. С потолка свешивалась

большая керосиновая лампа, при ее красноватом свете семинаристы разделись, и в четверть одиннадцатого фамулус ее погасил. Вот они лежат все рядышком, между койками стоят стулья со сложенной на Них одеждой, на дверном косяке болтается веревка — рано утром за нее дернут звонок. Два-три мальчика уже успели познакомиться и робко перешептываются, сообщая Друг другу свои первые впечатления, но скоро и они умолкают. Остальные лежат на своих койках, притихнув, как мышки. кое-кто уже посапывает, изредка слышится шуршанье «полотняного пододеяльника — это кто-нибудь во сне шевельнул рукой. Еще не уснувших и вовсе неслышно.

К Гансу сон не шел. Он прислушивался к дыханию своих новых товарищей и обратил внимание на странные, несколько испугавшие его звуки, которые доносились от соседа через койку. Там кто-то плакал, натянув одеяло на голову, и эти приглушенные рыдания как-то странно взволновали Ганса. Сам он не тосковал по дому, однако ему жаль было своей тихой маленькой комнатки; к этому прибавился робкий страх перед неизвестным будущим и незнакомыми ребятами. Но еще задолго до полуночи сон одолел и последнего из свежеиспеченных семинаристов. Так они и

лежали на своих койках, прижавшись щекой к полосатой подушке. Любящий погрустить — рядом с упрямцем, весельчак — с застенчивым, все они погрузились в сладкое забытье. Вскоре над старинными островерхими крышами, колокольнями, эркерами, башенками, зубчатыми стенами и галереями взошел, бледный месяц. Свет его залил пороги, подоконники и готические окна, заглянул в романтические ворота и дрожал, отливая золотом, в большой благородной чаше источника на галерее. Несколько бледно-желтых полосок и пятен проникли через окна в спальню эллинов и наложили свой отпечаток на сны дремлющих юношей, как некогда накладывали его на сновидения многих поколений иноков.

На другой день в молельне состоялась торжественная церемония приема. Преподаватели выстроились, все в длиннополых сюртуках эфор[6] держал речь, а семинаристы, склонив головы и задумавшись, слушали, сидя на стульях, и пытались разглядеть в задних рядах мать или отца. Матери, углубившись в свои думы, с улыбкой на лице поглядывали на своих чад; отцы держались прямо и с серьезным и решительным видом

[6] Примечания: 6

От греческого — надзиратель. В протестантских семинариях руководитель.

следили за словами эфора. Гордые и похвальные чувства, прекрасные надежды вздымали их грудь, и ни одному из них не пришло на ум, что в этот час он продал сына государству.

По окончании речи каждого ученика вызывали по имени, он выходил и удостаивался рукопожатия эфора; тем самым он был принят и налагал на себя определенные обязательства, но зато государство, при условии благонамеренного поведения, до конца дней брало на себя заботу о нем. Что это давалось отнюдь не даром, никому, в том числе и родителям, не приходило в голову.

Значительно более важным и волнующим показалось юношам расставание с родными. Кто пешком, кто на почтовых, а кто и на первой попутной фуре, исчезали они, сопровождаемые прощальными взглядами сыновей. Дул ласковый сентябрьский ветерок, еще долго мелькали платочки, но вот лес поглотил и последнюю пару, и сыновья, притихшие, задумчивые, возвратились в обитель.

— Укатили, стало быть, родители! — резюмировал фамулус.

Началось разглядывание друг друга, состоялись и первые знакомства сначала лишь среди обитателей одной и той же комнаты. Кто наливал

чернила в чернильницу, кто керосин в лампу, а кто приводил в порядок книги и тетради, — все как бы желая поскорее обжить новое помещение. Ребята обменивались взглядами, переговаривались, рассказывали о родном городке и школе, вспоминали, как вместе дрожали на экзаменах. Вокруг парт толпились группки беседующих, то тут то там раздавался звонкий мальчишеский смех, и к вечеру все уже знали друг друга лучше, чем пассажиры корабля к концу длительного морского путешествия.

Среди семинаристов, попавших вместе с Гансом в «Элладу», четверо оказались не лишенными своеобразия, остальные же в большей или меньшей мере были посредственностями. К первым можно было отнести Отто Гартнера, сына штутгартского профессора, одаренного, спокойно-самоуверенного и безукоризненного в поведении подростка. Рослый и широкоплечий, он был превосходно одет и сразу же завоевал симпатии эллинов своими толковыми и решительными выступлениями.

Затем шел Карл Гамель — сын старосты небольшой деревушки в суровом Альбе. Чтобы его разгадать, требовалось уже время, в нем так и бурлили противоречия: он редко выходил из

своего флегматичного состояния, но тогда в нем проявлялась необузданная страстность, Карл делался драчливым; немного спустя он снова замыкался в себе, и трудно было угадать, кто он — скромный созерцатель или скрытый лицемер.

Более ярким, хотя и менее сложным, характером оказался Герман Гейльнер, уроженец Шварцвальда, из хорошей семьи. С первого же дня стало известно, что он поэт, поклонник искусств, и вскоре распространялась молва, будто он во время экзаменов написал свое сочинение гекзаметром. Гейльнер много и оживленно говорил и привез с собой прекрасную скрипку. Можно было подумать, что весь он как на ладони, весь соткан из юношески незрелой сентиментальности и легкомыслия. Но характер его был гораздо сложней, хотя это не бросалось в глаза Физически и духовно развитый не по годам, он уже делал попытки идти Собственным путем.

Но самым занятным из жителей «Эллады, был некий Эмиль Луциус — маленький белесый паренек, скрытный, упорный и трудолюбивый, сухонький, как поседевший от забот крестьянин. Несмотря на угловатость фигуры и незрелость черт, он не производил впечатления подростка иг все делал уже как взрослый, вполне сложив-

шийся человек С первого же дня, когда другие еще болтали и слонялись по коридору, лишь постепенно привыкая к новой обстановке, он уже сидел, склонившись над грамматикой, и, заткнув уши большими пальцами, зубрил так прилежно, словно хотел наверстать упущенные годы ученья.

Повадки этого тихого чудака сверстники разгадали лишь со временем, и в конце концов он предстал перед ними таким изощренным скрягой и эгоистом, что совершенство в этих пороках снискало ему даже некоторое уважение, во всяком случае его терпели. Он выработал себе хитроумную систему накопления и наживы, и уловки его лишь постепенно выступали наружу, вызывая всеобщее удивление. Начиналось это с утра: он приходил, в умывалку или первым, или последним, чтобы воспользоваться чужим полотенцем и мылом и тем самым сберечь собственные. Так ему удавалось сохранять полотенце в чистоте неделю или даже две. Но в семинарии полагалось менять полотенце каждый понедельник, и оберфамулус тщательно следил за этим. Поэтому Луциус в понедельник утром вывешивал свежее полотенце на свой пронумерованный гвоздик, однако в обед снова его

снимал, аккуратно складывал и прятал в шкафчик, а сохраненное вывешивал на прежнее место. Мыло у него было твердое, плохо мылилось, зато одного куска хватало на месяцы. Но все это вовсе не значило, что Луциус был грязен и неопрятен; напротив, он ходил щеголем, тщательно причесывал свои жидкие белесые волосы, а одежду; и белье всегда содержал в образцовом порядке.

Из умывалки семинаристы спешили на завтрак. С утра полагалось: чашка кофе, кусочек сахару и булочка Большинство не находило этот завтрак обильным, ибо молодые люди после восьмичасового сна испытывают, как правило, порядочный голод. На наш Луциус бывал доволен, он даже сберегал кусочек сахару и охотно сбывал его желающим за два пфеннига или выменивал двадцать пять кусочков на одну тетрадь, Разумеется, по вечерам, чтобы сэкономить керосин, он предпочитал пользоваться светом чужих ламп. А между тем он вовсе не был сыном бедных родителей и: происходил из весьма состоятельного дома; дети бедняков вообще редко проявляют хозяйственность и не умеют копить.

Эмиль Луциус распространял свою систему стяжательства не только на приобретение вещей, которые можно было бы присвоить, нет, он

пытался выколотить себе выгоду и в духовной области. При этом у него хватало ума никогда не забывать, что все духовное имеет лишь относительную ценность, а посему он прилагал подлинное старание лишь к тем предметам, где такие усилия могли принести плоды на экзаменах, в остальном же довольствовался весьма скромными баллами. Все, что он заучивал, все, чего достигал, он мерил по успехам однокашников и охотнее видел себя первым среди полузнаек, чем вторым среди поистине толковых ребят. Поэтому вечерами, когда товарищи проводили свой досуг за игрой или чтением, он тихо сидел в сторонке над учебником. Шум ему не мешал. Иной раз он без всякой зависти весело поглядывал на резвящихся семинаристов: ведь если бы остальные тоже занимались, его собственные усилия оказались бы нерентабельными.

Все эти лисьи уловки и приемы никто прилежному карьеристу в строку не ставил. Но как и все однобокие, чересчур гоняющиеся за выгодой люди, он вскоре совершил опрометчивый шаг. Преподавание в семинарии было бесплатным, и Луциуса осенила мысль воспользоваться этим и брать уроки скрипки. Не та чтобы он когда-нибудь занимался музыкой, имел «хороший слух,

«способности или хотя бы испытывал какую-нибудь радость, слушая, как, играют другие. Отнюдь нет, он просто решил, что игре на скрипке можно научиться, как, скажем, латинскому языку или счету. Где-то он слышал, что музыка в жизни может пригодиться, она делает человека приятным и желанным в обществе, а к тому же это ничего не стоило — ведь ученическую скрипку в семинарии тоже предоставляли бесплатно всякому желающему.

Когда Луциус явился к преподавателю музыки Гаасу и потребовал, чтобы ему давали уроки игры на скрипке, у того волосы стали дыбом. Гаас хорошо знал его по урокам пения, на которых достижения Эмиля, правда, доставляли немалую радость ученикам, однако преподавателя приводили в отчаяние. Ганс попытался отговорить юношу, но не тут-то было! Эмиль тонко улыбнулся и скромно заметил, что это его неотъемлемое право и что его страсть к музыке неодолима. Тогда ему вручили самый дурной инструмент, дважды в неделю вызывали на урок, и полчаса в день он пиликал на своей скрипочке. Однако после первых же его упражнений товарищи по комнате потребовали, чтобы это было первый и последний раз, и наотрез отказались выслушивать

безбожный скрип С тех пор Луциус беспокойно бродил по монастырю в поисках укромного уголка для своих занятий, а найдя его, извлекал из инструмента уже ни с чем несообразные звуки, походившие то на визг поросенка, то на скулеж щенка, то на скрипенье пилы, и доводил семинарскую братию до исступления Поэт Гейльнер заметил, что ему так и кажется, будто изо всех дырочек этой старой, источенной и измученной скрипки несется мольба о снисхождении Так как Луциус не мог добиться никаких успехов, истерзанный преподаватель начал терять терпение, нервничал, все чаще грубил. Эмиль упражнялся до исступления, и на его самодовольной физиономии лавочника появились первые морщины забот. Нет, то была чистая трагедия, ибо когда преподаватель в конце концов объявил его совершенно неспособным к музыке и отказался продолжать уроки, неутолимая страсть потерявшего голову Луциуса заставила его избрать своей жертвой фортепьяно Многие месяцы мучился он с ним, прежде чем окончательно скис и тихо сдался. Но еще годы спустя, стоило лишь завести речь о музыке, Луциус охотно давал понять, что в былые времена и он обучался как на скрипке, так и на фортепьянах и только неблагоприятные

условия, к сожалению, вынудили его оставить занятия столь прекрасными видами искусства.

Таким образом, Элладе представлялось немало случаев повеселиться за счет странностей своих обитателей, ведь и любитель изящной словесности Гейльнер не раз давал повод, для комических сцен. Карл Гамель решительно записался в сатирики и не упускал случая подмечать смешное. Он был на год старше остальных, и это порождало в нем чувство некоторого превосходства, однако в вожаки ему так и не удалось выбиться. Настроения его быстро менялись, и примерно каждую неделю на него «нападало желание испытать свои силы в драке; тогда он был необуздан и доходил до жестокости.

Ганс Гибенрат, с удивлением наблюдая за всем этим, шел своим избранным тихим путем и вскоре прослыл хорошим, однако чересчур уж спокойным учеником. Прилежный почти так же, как Луциус, он снискал к себе уважение всех соседей по комнате, за исключением Гейльнера, избравшего себе девизом гениальное легкомыслие и порой высмеивавшего Ганса как карьериста. И хотя по вечерам в коридорах нередко затевались потасовки, многочисленная ватага быстро развивающихся подростков сжи-

лась неплохо. Все разыгрывали из себя взрослых мужчин, занимались серьезно и вели себя безукоризненно — надо же было как-то оправдать непривычное обращение на «вы, со стороны учителей, — а на только что покинутую прогимназию поглядывали по меньшей мере с тем же снисходительным высокомерием, как студенты-первокурсники на гимназию. Но время от времени сквозь эту наигранную солидность прорывалось неподдельное ребячество И тогда длинные коридоры гудели от топота сотен ног и крепкой мальчишеской ругани.

Для руководителя какого заведения было бы отрадно и поучительно наблюдать, как после первых же недель совместной жизни ватага ребятишек уподобляется оседающей химической смеси, где колеблющиеся хлопья и комочки понемногу то сгущаются, то снова рассеиваются, обретают другую форму — и так до тех пор, пока не образуются прочные соединения. После того как прошла первая робость и семинаристы перезнакомились друг с другом, все Заволновалось, забурлило, всюду толпились группки, образовывались дружеские и вражеские лагери Редко когда сходились земляки и бывшие товарищи по школьной семье: большинство искало новых

знакомств, горожане дружили с крестьянскими парнями, горцы с жителями долин — и все по какому-то скрытому влечению, какой-то тяге к разнообразию, желая найти дополнение самого себя. Подростки нерешительно искали друг друга, обнаруживая наряду с сознанием общности стремление обособиться, а, кое в ком уже проступали черты самостоятельной личности, впервые пробуждавшейся от глубокого сна детских лет. Разыгрывались неописуемые сцены ревности, бесконечных объяснений, рождались дружеские союзы, объявлялась непримиримая вражда, и завершалось все это — либо юношескими нежными отношениями и совместными прогулками, — либо ожесточенной схваткой на кулачках.

Казалось, Ганс во всем этом не принимал участия. Карл. Гамель беззастенчиво навязывал ему свою дружбу, но он только испуганно отшатнулся, а Гамель тут же нашел себе друга среди обитателей Спарты. Ганс так и остался в одиночестве. Царство дружбы рисовалось ему на далеком горизонте в самых радужных и заманчивых красках. Он страстно «тянулся к нему, однако застенчивость сдерживала этот порыв. В строгие, сиротливые отроческие годы в нем. увял дар сближения, и от всякого бурного проявления

чувств он с ужасом шарахался в сторону. К этому надо прибавить мальчишескую гордость и, наконец, пагубное честолюбие. Нет, он не был похож на Луциуса, он искренне стремился к знаниям, но, подобно этому скряге, сторонился всего, что могло бы отвлечь от занятий. Вот Ганс вечно и корпел над учебниками, однако когда он видел, как другие радовались своей дружбе, его терзали зависть и тоска. Карл Гамель, разумеется, не подходил ему, но если бы такую попытку предпринял кто-нибудь другой и решительно захотел бы привлечь его к себе, Ганс с радостью откликнулся бы. Как робкая девушка, он сидел и ждал, не придет ли кто-то более сильный, смелый, чтобы увлечь его за собой в страну счастья.

Первые месяцы пролетели быстро; к тому же занятия, особенно древнееврейский язык, отнимали у юношей много сил. В маленьких озерах и прудах Маульбронна отражалось бледное небо поздней осени и увядающая листва ольхи, берез и дуба, сумерки становились все длинней; по живописным рощам с гулом и свистом, точно огромная метла, проносился холодный ветер, возвещая близкую зиму. И не раз уже пушистый иней окутывал все вокруг.

Лирически настроенный Герман Гейльнер

тщетно пытался найти себе конгениального друга и в час досуга один бродил по лесам. Заброшенное озерцо, заросший осокой меланхолический бурый омут, почти скрытый под нависшими кронами с жухлым уже листом, чаще всего оказывались целью его прогулок. С «неодолимой силой этот прекрасный в своей печали лесной уголок притягивал юного поэта. Так хорошо было выводить тонким прутиком на недвижимой водной глади мечтательные круги или, лежа в низкой прибрежной траве, читать песни Ленау и под мрачный аккомпанемент падающих листьев и грустный шум голых ветвей думать осенние думы о гибели и смерти. В такие минуты он доставал из кармана небольшую черную тетрадь и записывал одну-две пришедшие на ум строки.

За этим занятием и застал его как-то после обеда Ганс Гибенрат, забредший в этот укромный уголок в одну из своих дальних прогулок. Шла уже вторая половина октября, но было еще светло. Сочинитель пристроился на небольших мостках с черной тетрадочкой на коленях и задумчиво покусывал кончик остро отточенного карандаша. Рядом лежала раскрытая книга. Ганс медленно подошел.

— Привет, Гейльнер! Чем это ты занят?

— Читаю Гомера. А ты, Гибенратхен?

— Так я и поверил! Знаю я, что ты делаешь.

— Вот как?

— Точно знаю. Стихи сочиняешь.

— Ты так думаешь?

— Думаю.

— Садись.

Гибенрат сел рядом с Гейльнером на мостки, поболтал ногами над водой, проводил глазами побуревший листок, который, медленно кружась в прохладном, безветренном воздухе, тихо опустился на воду, затем сказал:

— А хорошо здесь!

— О да!

Оба растянулись на спине, так что из всего осеннего ландшафта их взору представилось лишь несколько нависших над озерцом крот да светло-голубое небо со спокойно плывущими по нему белыми островками.

— Как прекрасны облака! — наслаждаясь этим зрелищем, заметил Ганс.

— Да, дорогой Гибенратхен, — вздохнув, подтвердил Гейльнер. — Вот быть бы самому таким облачком!

— И что тогда?

— Понеслись бы мы, словно прекрасные ко-

рабли с парусами, над лесом и деревнями, над чужими краями и, странами… А ты видел когда-нибудь настоящий корабль?

— Нет. А ты?

— Я видел. Да что с тобой об этом говорить, ты ведь ничего не смыслишь в подобных вещах! Тебе бы все учиться, зубрить, в первые вылезать!

— Считаешь меня ослом?

— Нет, почему, я этого не говорил.

— Не такой уж я дурак, как ты думаешь, Расскажи лучше о кораблях.

Гейльнер резко повернулся и чуть не упал в воду. На затем, удобно устроившись на животе, подпер подбородок ладонями и заговорил:

— На Рейне я видел такие корабли в каникулы. Было воскресенье, и мы плыли вниз по течению. Уже спустилась ночь. Огни отражались в воде. На палубе играла музыка, пассажиры пили рейнское, и все девушки были в белых платьях.

Ганс слушал молча, закрыв глаза, и ему представилась летняя ночь, по реке плывет корабль, играет музыка, красные огоньки пляшут на воде, а девушки все в белых платьях…

— Да, не то, что здесь — вздохнул Гейльнер. — У нас никто и не знает, как это хорошо Скучные людишки, кругом ханжество! Пыхтят, стараются,

и ничего-то лучше еврейской азбуки себе не мыслят. И ты такой же.

Ганс промолчал. Странный человек этот Гейльнер. Мечтатель, поэт. Часто Ганс удивлялся ему. Всем было известно, что Гейльнер почти не готовил уроков, и все же, знал он порядочно, хорошо отвечал у доски, однако знания свои как бы презирал.

— А Гомера читаем, — продолжал язвить Гейльнер, — будто Одиссея, — поваренная книга. По две строки за урок, потом каждое слово пережевываем, выворачиваем, пока тошно не станет. Но перед самым звонком тебе говорят: «Обратите внимание, какой тонкий оборот употребил поэт, вы проникли в тайны поэтического творчества «Получается нечто вроде подливки к партикулам и аористам. А то как бы мы вовсе не задохлись! Начхать мне на такого Гомера И вообще какое нам дело до всей этой греческой рухляди? Попробуй кто-нибудь из нас пожить хоть часок-другой, как жили древние греки, — сразу вылетишь из семинарии. А на дверях надпись — «Эллада». Одно издевательство! Почему не написать: «Мусорная корзина», или «Клетка для рабов», или еще лучше — «Страхолюдия». Все эти классические вывески — сплошной обман!

И он сплюнул.

— А ты правда, до того как я подошел, стихи сочинял? — спросил Ганс.

— Да.

— О чем?

— Так, обо всем. Об этом озере, осени…

— Покажи.

— Нельзя, я еще не кончил.

— А когда кончишь, покажешь.

— Ладно, покажу.

Оба поднялись и медленно побрели к монастырю.

— Вот ты, к примеру, обращал когда-нибудь внимание на красоту этих зданий? — спросил Гейльнер, когда они проходили мимо Рая. — Залы, стрельчатые окна, галереи, трапезные, готический и романский стиль — какое богатство, какая искусная работа — труд подлинных художников! И для кого все эти чудеса? Для трех десятков несчастных парней, которых натаскивают на попов. Ну что ж, у государства денег много.

Ганс потом еще долго думал о Гейльнере. Что это за человек? Ни забот, ни желаний, волновавших Ганса, для него не существовало. И мысли и слова были у него какие-то особые, свои вся его жизнь казалась более свободной, в ней было

больше теплоты, и мучило Гейльнера совсем не то, что Ганса, он как будто презирал все свое окружение. Гейльнер умел ценить красоту всех этих старинных колонн и зданий. Он владел таким таинственным и своеобразным искусством — изливать свою душу в стихах, создавать в воображении мнимо живую, свою жизнь. Необузданный, вечно в движении, он за один день отпускал больше острот, чем Ганс за целый год. Всегда он о чем-то грустил, но казалось, он наслаждается своей грустью как чем-то посторонним, необычным, даже сладостным.

Вечером того же дня Гейльнер выказал перед эллинами, свой взбалмошный, но вместе с тем яркий характер. Один из подростков, по имени Отто Венгер, — мелкая душонка и горлопан — затеял с ним ссору. Некоторое время Гейльнер сохранял спокойствие, легко парируя остротами наскоки противника, но затем дал спровоцировать себя и залепил Венгеру пощечину. Не прошло и нескольких секунд, как оба, вцепившись друг в друга, носились, словно корабль без руля, то зигзагами, то по кругу, то вдоль стен, то через стулья, катались по полу, оба ни слова не говоря, задыхаясь, кипя от гнева и брызжа слюной. Товарищи критическим оком следили за поединком, сторо-

нились, когда клубок приближался к ним, спасая ноги, парты и лампы, весело переговаривались в ожидании исхода. Немного погодя Гейльнер с трудом поднялся, оттолкнул Венгера и тяжело перевел дух. Вид у него был сильно потрепанный, глаза налиты кровью, ворот рубахи оторван, на коленке — огромная дыра. Противник хотел было снова наскочить на него, но Герман, скрестив руки на груди, высокомерно заявил:

— Я не намерен продолжать, хочешь — бей?

Отто Венгер, выругавшись, ушел. Гейльнер прислонился к парте, покрутил лампу, засунул руки в карманы. Казалось, он силится что-то вспомнить. И вдруг у него из глаз брызнули слезы — одна, другая, целый поток. Это было неслыханно. Плачущий семинарист? Какой позор! А Гейльнер даже не пытался скрыть эти слезы. Он не убежал из комнаты, а спокойно стоял на месте, повернувшись бледным лицом к лампе, не смахивая слез и даже не вынимая рук из карманов. Товарищи окружили его, со злорадным любопытством разглядывали, Наконец Гартнер подошел к нему и сказал:

— Эй, ты, Гейльнер, и тебе не стыдно?

Герман, словно только что пробудившись от глубокого сна, медленно повернул к нему свое

заплаканное лицо и презрительно ответил:

— Мне? Стыдиться вас? Нет, дружок.

Он смахнул слезы, зло улыбнулся, задул лампу и вышел вон.

Все это время Ганс Гибенрат не покидал койки и только удивленно и испуганно поглядывал на Гейльнера. Лишь четверть часа спустя он осмелился последовать за ним и нашел его в темном промерзшем коридоре. Гейльнер сидел на подоконнике в глубокой нише и смотрел вниз, на галерею. Плечи, четкий силуэт характерной головы производили сзади удивительное впечатление: будто это сидел совсем взрослый, глубоко задумавшийся человек. Герман не шелохнулся, когда Ганс подошел и остановился у окна. Лишь немного погодя он, не оборачиваясь, спросил хриплым голосом:

— Ну, кто там еще?

— Это я, — робко промолвил Ганс. — Чего тебе?

— Ничего.

— Вот как? Тогда проваливай!

Ганс обиделся и хотел было уйти, но Гейльнер удержал его.

— Постой, — сказал он с наигранной бодростью, — я не то хотел сказать.

Оба одновременно посмотрели друг другу в ли-

цо и в это мгновение, пожалуй, впервые серьезно разглядели друг друга, возможно и поняли, что за этими юношески неоформившимися чертами скрывается своя особая жизнь, прячется своя неповторимая душа.

Герман Гейльнер протянул руку и за плечи привлек Ганса к себе, так что лица их оказались совсем рядом. Внезапно Ганс почувствовал прикосновение чужих губ. Удивление и страх охватили его. Сердце забилось и тут же сжалось. Во всей этой встрече здесь, в темном коридоре, в этом неожиданном поцелуе было что-то фантастическое, новое, быть может опасное. Вдруг его осенила мысль, как было бы ужасно, если бы их застали здесь. Поцелуй Гейльнера показался бы товарищам куда более позорным и смешным, нежели его слезы полчаса назад Ганс не в состоянии был вымолвить слова, кровь ударила, ему в голову, залила лицо — охотней всего он убежал бы без оглядки.

Взрослый человек, случайный свидетель этой маленькой сцены, возможно, испытал бы чувство тихой радости, присутствуя при столь стыдливом заключении дружеского союза, любовался бы робко-беспомощной нежностью, серьезными, многообещающими мальчишескими лицами:

каждое было по-своему красиво и еще не утратило детского очарования, однако уже носило налет прекрасной юношеской гордости.

Постепенно юное племя привыкло к совместной жизни. Все уже знали друг друга, у каждого сложилось о каждом определенное представление, было заключено немало дружеских союзов. Семинаристы вместе зубрили, древнееврейские вокабулы, вместе рисовали, ходили гулять или читали Шиллера, Хорошие латинисты и плохие математики сходились с плохими латинистами и отличными математиками, деля плоды товарищеской взаимопомощи. Имелись, однако, и союзы, в основе которых лежал договор, зиждившийся на, общности имущества. Так, владелец огромного окорока, стяжавший немалую зависть, обнаружил дополняющую себя половину в сыне садовника из Штаммгейма, шкафчик которого был завален чудесными яблоками. Как-то, уплетая ветчину и почувствовав жажду, он попросил у штаммгеймца яблочка и предложил ему взамен отведать окорока. Они сели рядышком, и очень скоро в результате осторожных дипломатических переговоров выяснилось, что как только окорок будет истреблен, незамедлительно прибудет другой, владелец же яблок заверил, что

отцовских запасов хватит до самой весны; это и привело к заключению весьма солидного союза, намного пережившего иную, куда более возвышенную и бурно вспыхнувшую дружбу.

Мало кто остался бобылем, в числе таковых был Луциус, чья корыстная любовь к искусству в то время переживала самый расцвет.

Составились и неравные пары. И самой неравной слыла пара Герман Гейльнер — Ганс Гибенрат, союз легкомыслия и добросовестности, поэта и карьериста. Правда, оба славились как весьма толковые и одаренные, однако Гейльнера несколько, иронически прозвали гением, зато друга его любили подразнить пай-мальчиком. Впрочем, как правило, их оставляли в покое, каждый был поглощен собственной дружбой и ревниво ее оберегал.

Все эти личные интересы и переживания, однако, урона занятиям не наносили. Напротив, они были как бы главной темой, лейтмотивом всей жизни, определяли ее ритм. Рядом с ними пиликанье Луциуса, сочинительство Гейльнера, дружеские привязанности, горячие споры, а то и драки служили некоторым развлечением в перерывах. Больше всего хлопот доставляло изучение древнееврейского. Этот старинный, такой

своеобразный язык Иеговы, подобно корявому, засохшему, но все еще полному таинственной жизни старому дереву, загадочно вырастал перед глазами юношей, поражая причудливо сплетенными ветвями, дикими наростами, неожиданной раскраской и ароматом своих, цветов. В дуплах, среди корней, на суках обитали то вызывающие жуть, то ласковые тысячелетние духи, чудовищные драконы, очаровательные, детски-наивные сказки, высохшие лики седовласых мудрецов рядом с красивыми юношами и волоокими девами, а то и воинственными женами. То, что в библии Лютера звучало как нечто отдаленное, словно в мечтах, в суровом оригинале обретало вдруг плоть и кровь, жило своей неистребимой, медлительной, безумно устаревшей, и в то же время таинственной жизнью. Так по крайней мере казалось Гейльнеру, который, проклиная ежедневно и ежечасно Моисеево Пятикнижие, все же упивался им, находя в нем больше жизни и души, нежели иной прилежный зубрила, затвердивший все глаголы и не делавший ошибок в произношении.

А Новый Завет? Здесь все звучало нежней, прозрачнее, сердечнее, и хотя язык его был менее древен, глубок и богат, но зато весь исполнен

юношеского, деятельного и в то же время мечтательного духа. А «Одиссея»? Из благозвучно мощных, ровно и сильно льющихся строк ее поднималась, подобно белой округлой руке русалки, весть о давно погибшей, но, совершенной по форме счастливой жизни, то явственно ощутимой в какой-нибудь смело и грубовато очерченной сцене, то мерцающей, как далекая мечта, как предчувствие чего-то прекрасного, в отдельных словах и стихах.

Рядом с ними меркли или лишь тускло светили, как звезды второй величина, историки Ксенофонт и Ливии.

С удивлением Ганс заметил, что его другу все представлялось в ином свете, чем ему самому. Для Германа не существовало ничего отвлеченного, что он не мог бы разрисовать в своем воображении самыми фантастическими красками. А где это не получалось, он с отвращением отходил в сторону. Математика была для него полным загадок коварным сфинксом, холодный и злобный взгляд которого парализовал свои жертвы, и Герман обходил это чудовище, делая большой крюк.

Странная это была дружба. Для Гейльнера — веселое развлечение, весьма удобное, в какой-то мере даже комфортабельное, или просто каприз,

для Ганса — то гордо оберегаемое сокровище, то огромное, тяжкое бремя. До сих пор Ганс посвящал вечерние часы занятиям. Теперь же почти ежедневно, как только Герману надоедало зубрить, он шел к Гансу, отнимал у него книгу и полностью завладевал другом. В конце концов, как Ганс ни любил Гейльнера, с наступлением вечера его стало бросать в дрожь, и в обязательные для занятий часы он удваивал свои усилия, торопясь использовать каждую минуту. Еще мучительнее он переживал психическую атаку, которую Герман повел на его прилежание.

— Это же крепостной труд! — разглагольствовал поэт. — Ты же занимаешься без всякой охоты, не добровольно, только из страха перед учителями или перед своим стариком. Что тебе от того, будешь ли ты первым или вторым учеником? Я, к примеру, двадцатый, а не глупей вас, карьеристов.

Ганс в ужас пришел, впервые увидев, как Гейльнер обращается с учебниками. Однажды он забыл свои книги в лекционном зале и, собираясь подготовиться к уроку географии, попросил у Германа атлас. С содроганием он обнаружил, что целые страницы замараны карандашом. Западное побережье Пиренейского полуострова превратилось в

гротескный профиль, нос которого вытянулся от Опорто до Лиссабона, мыс Финистерре был украшен «завитыми локонами, а мыс Сан-Висенти представлял собой кончик искусно закрученной бородки. И так от карты к карте. Белая Обратная их сторона была вся испещрена карикатурами с весело-дерзкими виршами, клякс тоже хватало. Ганс издавна привык обращаться со своими книгами, как со святыней, драгоценностью, и ему подобная смелость представлялась полукощунством-полупреступлением, но все же и чем-то героическим.

Со стороны могло казаться, что добрый Гибенрат для его друга Гейльнера всего-навсего приятная игрушка, что-то вроде котенка, да и самому Гансу это порой так представлялось. Однако Герман был привязан к нему, он нуждался в нем, ему нужен был кто-нибудь, кому бы он мог довериться, кто бы его слушал, восхищался, с безмолвным упоением внимал его бунтарским речам о школе и жизни. Но ему нужен был и утешитель, которому он в часы грусти мог бы положить голову на колени. Как все подобные характеры, юный поэт страдал припадками беспричинной, несколько кокетливой меланхолии, которая вызывается тихим расставанием с дет-

ством, отчасти избытком сил, не находящим себе применения, предчувствиями и желаниями, а то и непонятным, глухим клокотанием крови. И тогда у Гейльнера возникала болезненная потребность в сострадании и ласке. В прежние годы любимчик, своей матушки, он теперь еще не созрев для женской любви, тянулся к своему покорному другу, как к утешителю.

Часто он, беспредельно несчастный, являлся вечером к Гансу, отрывал его от занятий к требовал, чтобы тот вышел с ним в коридор. В холодном зале или в высокой сумеречной молельне они то ходили рядом, то, поеживаясь от холода, сидели на подоконнике. Гейльнер, наподобие юных лириков, зачитывающихся Гейне, кутаясь в облако полудетской грусти, которая Гансу, правда, была мало понятна, но все же производила впечатление, а порой и заражала, принимался жалобно скулить. Чаще всего такие припадки случались с чувствительным эстетом в ненастную погоду; жалобы и стенания достигали своего апогея особенно в те вечера, когда дождевые тучи заволакивали осеннее небо, а за ними, изредка проглядывая через мрачную пелену и разрывы, неслась луна по своей орбите. Тут уж он целиком отдавался оссиановским настроениям, и

бесконечные вздохи, выспренние речи и вирши целым потоком, обрушивались на ни в чем не повинного Ганса.

Измученный, подавленный этими излияниями, Ганс в остающиеся у него часы набрасывался на занятия, однако они давались ему все с большим трудом. Его даже не удивило, что возобновились прежние головные боли, а вот то, что все чаще и чаще он часами сидел какой-то вялый, ничего не делая, и ему приходилось понукать, подхлестывать себя, чтобы приготовить самые необходимые уроки, доставляло ему немало забот. Правда, он смутно чувствовал, что дружба с таким оригиналом, как Гейльнер, истощала его и действовала на какую-то до сей поры не тронутую часть души тлетворно. Но чем мрачней и плаксивее делался Герман, тем больше Ганс жалел его, тем ласковей был с ним, тем большей гордостью наполняло его сознание, что друг нуждается в нем. К тому же, прекрасно понимая, что эта болезненная меланхолия, в сущности, не свойственна Герману, что в ней ищут исхода лишние, нездоровые инстинкты, Ганс любил, друга, искренне восхищался им. Когда Герман читал стихи, распространялся о своих поэтических идеалах или страстно, сопровождая каждое слово

неистовыми жестами, декламировал монологи из Шиллера или Шекспира, Гансу казалось, будто тот, наделенный отсутствующим у него, Ганса, волшебным? даром, парит в воздухе и, обретя некую божественную свободу, исполненный пламенной страсти, отлетает от подобных Гансу смертных, как гомеровский небесный вестник в крылатых сандалиях». До этого мир поэзии был ему почти неведом, представлялся не таким уж важным, теперь же без всякого внутреннего сопротивления он впервые ощущал всю обманчивую силу благозвучно льющихся слов, зыбких образов, льстивых рифм, и трепет его перед вновь открывшимся царством сливался в единое чувство с преклонением перед другом.

Тем временем настали сумеречные, ненастные ноябрьские дни, когда лишь несколько часов удавалось заниматься, не зажигая лампы. В черные ночи буря перекатывала огромные горы туч через мрачные холмы и со стоном, а то как бы ворча, налетала на могучие монастырские стены. Почти все деревья стояли уже голыми, и только дуб с шишковатыми ветвями — царь этого богатого лесами края — шумел сухой листвой громко «и угрюмо, как ни одно другое дерево. Гейльнер совсем помрачнел и, вместо того чтобы сидеть

с Гансом, завел себе новую моду — где-нибудь в отдаленной каморке изливать свои страсти на скрипке или же ввязываться в ссоры с товарищами.

В один из вечеров он, войдя в каморку для занятий музыкой, застал там старательно пиликающего Луциуса за нотным пюпитром. Обозлившись, Гейльнер ушел и вернулся через полчаса. Но тот все еще пиликал.

— Пора кончать! — набросился он на скрягу. — Другим тоже надо заниматься. И так уж твою музыку все стихийным бедствием считают.

Но Луциус не уступал места. Гейльнер нагрубил ему, а когда Эмиль, ничтоже сумняшеся, продолжал пиликать, он ногой сбил нотный пюпитр, который, падая, ударил злосчастного музыканта. Листы так и разлетелись по всей каморке.

Нагнувшись, чтобы поднять ноты, Луциус буркнул:

— Все расскажу господину эфору.

— Ну и рассказывай! — разозлился Гейльнер. — Только не забудь сообщить ему, что в виде бесплатного приложения я тебе еще пинком под зад наподдал. — И он тут же сделал попытку осуществить свою угрозу.

Отскочив в сторону, Луциус бросился к дверям.

Его мучитель — за ним, и пошла шумная, жаркая погоня по коридорам, залам, лестницам, вплоть до самого отдаленного уголка, где тихо и уединенно обитал почтенный эфор. Гейльнер догнал беглеца на пороге рабочей комнаты высокого наставника, и когда Луциус, уже успев постучать, стоял в дверях, он в последний момент получил обещанное сполна и пулей влетел в святая святых.

То была неслыханная дерзость. На следующее же утро эфор произнес блистательную речь об испорченности молодежи, которую Луциус, то и дело поддакивая, слушал с глубокомысленным видом. Гейльнера наказали несколькими сутками карцера.

— Уже многие годы, — громовым голосом вещал эфор в молельне, — наша семинария не знала столь тяжелых наказаний. Заверяю вас, что я позабочусь о том, чтобы и через десять лет вы помнили о нем. А для вас, всех остальных, этот Гейльнер должен служить устрашающим примером.

Вся семинарская братия робко косилась на Германа, а он, бледный, гордо выдержал взгляд эфора. Про себя многие восхищались им как героем дня, и все же после отповеди, когда снова

зашумели коридоры, он остался в одиночестве — все сторонились его, точно прокаженного. Надо было проявить немалое мужество, чтобы и в этот час не отшатнуться от друга.

Ганс Гибенрат его не проявил. Он чувствовал, что это его долг, и страдал от собственной трусости. Не смея поднять глаз, глубоко несчастный, он стыдливо жался по одиноким нишам. Его так и тянуло к другу, и он много отдал бы, если бы можно было подойти к нему не заметно. Но семинарист, наказанный карцером, еще долгое время слывет в монастыре отверженным. Все знают, что за ним ведется особое наблюдение, общаться с ним опасно — это может привести к дурным последствиям для смельчака, В своей пышной речи на церемонии приема эфор говорил, что за благодеяния, кои государство оказывает своим воспитанникам, оно требует от них суровой, беспрекословной дисциплины. Ганс помнил это, и в борьбе между дружеским долгом и честолюбием последнее одержало верх. Таков уж был его идеал; продвигаться вперед, отлично сдавать экзамены, заставить всех говорить о себе, играть безусловно видную роль, однако отнюдь не романтическую и опасную. Перепуганный, он отсиживался в своем уголке. Вот выйти бы ему сейчас, набравшись

храбрости! Но с каждой минутой эта делалось все труднее и труднее, и не успел Ганс оглянуться, как уже стал предателем.

Гейльнер, конечно, заметил это. Страстный юноша видел, как его сторонятся семинаристы, и даже понимал их, но ведь на Ганса он так рассчитывал! Все его беспредметные жалобы и стенания были смехотворным пустяком по сравнению с тем, какую боль, какое возмущение он переживал теперь. Бледный и надменный, он на мгновение задержался, встретившись с Гансом.

— Подлый ты трус, Гибенрат! Тьфу! — произнес он и отошел, тихо насвистывая и засунув руки в карманы.

Хорошо, что другие мысли и занятия отвлекали в это время молодых людей. Два дня спустя после этого происшествия выпал первый снег затем наступили ясные морозные дни, когда так славно поиграть в снежки, покататься на коньках. Все вдруг заговорили о рождестве, о каникулах, ведь до них оставалось так немного! На Гейльнера уже мало обращали внимания. А он, молчаливый и гордый, с надменным выражением лица, ходил по коридорам, высоко подняв голову, ни с кем не заговаривал и часто что-то записывал в свою черную тетрадочку, на клеенчатом переплете

которой было выведено: «Песни монаха».

Нежными, фантастическими узорами застыл смерзшийся снег и иней на ветвях дуба, ольхи, бука, ивы. С прудов доносился треск прозрачного льда. Дворик, окруженный галереей, как бы превратился в тихий мраморный сад. В комнатах так все и гудело в предпраздничном оживлении, и даже обоим вылощенным, всегда таким спокойным в своем достоинстве профессорам предвкушение рождественских радостей придало налет снисходительности и веселой приподнятости. Не было среди учителей и учеников ни одного, кто оставался бы равнодушным при мысли о рождестве, даже Гейльнер казался менее ожесточенным и несчастным, а Луциус уже прикидывал, какие учебники и какую пару ботинок он захватит с собой. В письмах из дому говорилось о чудесных, вызывавших приятные воспоминания вещах, родичи спрашивали о самых горячих желаниях, описывали, как пеклись пироги, делали намеки на предстоящие сюрпризы, радовались скорой встрече.

Перед отъездом на; каникулы семинарская братия и прежде всего эллины, пережили еще одну, на сей раз веселую историю. На рождественский вечер, который должен был состояться в Элладе,

как самой большой из всех комнат, ученики решили пригласить и преподавателей. Написали соответствующую случаю торжественную речь, предполагалось выступление двух декламаторов, соло на флейте, а также скрипичный дуэт. Но всем хотелось включить и что-нибудь веселенькое. Долго шли переговоры, высказывались и отвергались предложения, однако никому ничего подходящего в голову не приходило. Тут Карл Гамель, шутки ради, заметил, что, пожалуй, самым веселым было бы соло на скрипке в исполнении Эмиля Луциуса. Под дружный хохот предложение было принято! Просьбами, обещаниями и угрозами несчастного музыканта заставили дать согласие, И вот в программках, после витиеватого обращения к учителям, в качестве отдельного номера значилось: «Тихая ночь — песня для скрипки, исполнит, камерный виртуоз Эмиль Луциус». Звания «камерный, он удостоился за свои усердные упражнения в отдаленной каморке.

Пригласили эфора, профессоров, репетиторов, господина Ганса и оберфамулуса, и все они явились на торжество. У преподавателя музыки выступили капли пота на лбу, когда Луциус в черном, взятом у Гартнера на прокат сюртуке, гладко причесанный, весь точно выутюженный,

вышел вперед и скромно улыбнулся, Уже поклон, который он отвесил присутствующим, вызвал взрыв смеха. Песнь «Тихая ночь» превратилась под его смычком в душераздирающий плач, в жалобные, вызывающие зубную боль вопли. Дважды он приступал к исполнению, рвал и рубил мелодию, ногой отбарабанивал такт, трудился, как лесоруб в трескучий мороз.

Преподаватель музыки, побелевший от возмущения, удостоился приветливого кивка со стороны эфора.

Луциус начал в третий раз, но снова застрял. Лишь тогда, опустив инструмент, он обратился к слушателям с извинением:

— Ничего не получается. Правда, я ведь только с осени играю на скрипке.

— Молодцом, Луциус! Молодцом! — воскликнул эфор. — От имени всех присутствующих благодарю вас за ваше прилежание. Продолжайте занятия в том же духе; Per aspera ad astra!

В три часа утра двадцать четвертого декабря в спальнях уже стоял шум и гам. На окнах расцвели пышные морозные цветы, вода в умывалке замерзла, по монастырскому двору гулял колючий ветерок, но все это никого не трогало. В Трапезной уже дымились огромные кофейники,

и вскоре темные группки закутанных в шарфы и пальто учеников потянулись по белому, слабо отсвечивающему полю, затем через притихшую рощу к далекой станции Все болтали, шутили, громко смеялись, и все же каждый был полон своих затаенных желаний, радовался предстоящим встречам, сознавал, что в городах, селах и на хуторах, разбросанных по всему краю, в празднично убранных комнатах его ждут родители, сестры, братья. Для большинства юношей это был первый рождественский праздник, на который они приезжали издалека, почти все они прекрасно знали, что их ждут с гордостью и любовью.

На крохотной железнодорожной станции среди заснеженного леса в трескучий мороз семинаристы дожидались поезда, и никогда, даже в более приветливой обстановке, они не были так единодушны, сговорчивы и веселы, Только Гейльнер оставался в одиночестве и не произносил ни слова, а когда подошел поезд, переждал, пока разместились все его однокашники, и лишь после этого сел в другой вагон Во время пересадки на следующей станции Ганс увидел его еще раз, но чувство стыда и раскаяния, охватившее было его, быстро улетучилось, потонув в радостном ожидании скорой встречи с родными местами.

Дома Ганс застал отца — с довольной улыбкой тот приготавливал для сына богатый подарочный стол. Правда, настоящего рождественского праздника в семье Гибенратов никогда не получалось. Недоставало песен, праздничного волнения, елки, недоставало матери. Господин Гибенрат не владел искусством устраивать настоящие торжества. Но он был горд своим мальчуганом и на сей раз не поскупился. Ну, а Ганс не знал! иных праздников и был доволен и этими.

Знакомые нашли, что вид у юного семинариста не блестящий — он слишком худ и бледен. Пошли расспросы о том, не плоховато ли кормят в монастыре. Ганс отрицал, заверяя, что чувствует себя хорошо; правда, часто болит голова. Но пастор утешил его, рассказав, что в молодые годы и он страдал головными болями, а стало быть, ничего тут такого нет.

Покрытая льдом река заманчиво сверкала, но в оба праздничных дня на ней нельзя было протолкнуться от конькобежцев. В новом костюмчике и зеленой фуражке семинариста, Ганс почти все дни проводил на улице. Да, далеко он ушел от своих бывших товарищей по школе, он вознесся на такую высоту, что им оставалось только с завистью поглядывать на него?

Глава четвертая

За четыре учебных монастырских года семинарская братия, как правило, теряла; одного, а то и нескольких своих. То кто-нибудь умрет, и «его с пением похоронят или отправят прах на родину в сопровождении эскорта друзей, то кто-нибудь сам силой вырвется из монастырских стен, то кого-нибудь отчислят за особые прегрешения. Но случалось, хотя и редко, да и то только в старших классах, что какой-нибудь, отчаявшийся юноша находил лишь один мрачный и быстрый выход из всех своих бед — выстрел! в висок или прыжок в воду.

Класс Ганса также потерял нескольких учеников, и по воле случая все они оказались из «Эллады». Среди ее обитателей числился скромный светловолосый юнец, по имени Хиндингер, а по кличке Хинду, сын портного из альгауского захолустья. То был житель тихий, лишь своим уходом заставивший говорить о себе, да и то, собственно, довольно мало. Будучи соседом по парте бережливого «камер-виртуоза» Луциуса, он скромно и приветливо обращался к нему

несколько чаще, чем к другим, но друзей так и не приобрел. Только после его исчезновения в «Элладе» заметили, что был он, собственно, добрым пареньком, непритязательным, отзывчивым соседом и порой невольно играл роль некоего успокаивающего центра в частенько столь бурной жизни «эллинов».

Однажды, в январе, он присоединился к группе семинаристов, отправившихся к Конскому пруду побегать на коньках. Коньков, правда, у него не было, но он хотел просто посмотреть как катаются другие. Вскоре он продрог и, чтобы согреться, принялся уминать ногами снег на берегу, потом решил немного побегать, забежал довольно далеко в поле и очутился у другого озерца, лишь слабо покрытого льдом из-за сильных теплых родников. Хинду пробрался через осоку и, как ни был мал и легок, тут же, у самого берега, провалился. Он побарахтался немного, пытаясь выбраться, покричал и, так никем и не замеченный, погрузился в темную холодную пучину.

Хватились его только в два часа, когда начался первый послеобеденный урок.

— Где Хиндингер? — спросил репетитор.

Никто не ответил.

— Проверьте в «Элладе».

Однако там никого не оказалось.

— Вероятнее всего, он опаздывает. Не будем ждать и начнем. Мы остановились на странице семьдесят четверо той, стих седьмой. Однако я прошу вас, чтобы подобные случаи не повторялись. Вы обязаны быть аккуратными.

Пробило три часа, а Хиндингера все не было. Репетитор забеспокоился и послал к эфору. Тот незамедлительно явился собственной персоной в актовый зал, расспросил всех, затем отправил, десять учеников в сопровождении одного репетитора и фамулуса на поиски. Оставшимся предложили написать диктант.

В четыре репетитор, не постучав, вошел и шепотом о чем-то доложил эфору.

— Тише! — гаркнул тот, хотя семинаристы и так сидели тихо на своих местах, в напряженном ожидании уставившись на него. — Ваш товарищ Хиндингер, — продолжал эфор, несколько сбавив тон, — вероятней всего, утонул в озере. Вам надлежит принять участие в его розыске. Руководить вами будет профессор Майер, и вы обязаны беспрекословно и быстро исполнять все его приказания. Категорически запрещаю предпринимать какие бы то ни было самостоятельные действия.

Перепуганные семинаристы, перешептываясь, быстро собрались в путь. Солнце уже опустилось к самому лесу, когда к колонне, торопливо шагавшей по полю во главе с профессором, присоединилось несколько жителей из соседнего городка, вооруженных баграми, веревками и досками. Мороз так и трещал.

Маленькое окоченевшее тело Хиндингера нашли только к вечеру в заснеженной осоке и положили на носилки. Словно испуганные птенцы, семинаристы окружили труп, глазели на него и старались оттереть свои замерзшие синие пальцы. Лишь когда утопленника понесли впереди, а они молча, проваливаясь в снег, последовали за ним, сердца их вдруг содрогнулись от ужаса, словно они почуяли зловещую смерть, как чует врага косуля.

Среди жалких продрогших ребят Ганс Гибенрат случайно оказался рядом со своим бывшим другом Гейльнером. Оба заметили это соседство, споткнувшись одновременно об одну и ту же кочку. Быть может, зрелище смерти потрясло Ганса и убедило в ничтожности себялюбия, во всяком случае, когда он неожиданно увидел перед собой бледное лицо друга, он почувствовал глубокую необъяснимую боль и, повинуясь внезапному

порыву, схватил руку Германа. Тот с неприязнью отдернул ее, оскорбленный, отошел от Ганса и тут же исчез где то в задних рядах.

Сердце пай-мальчика Ганса забилось от стыда и муки, и, когда он, спотыкаясь, брел по замерзшему полю, одна слеза за другой невольно сбегали по посиневшим от холода щекам. Он понял, что есть грехи и проступки, которые не забываются, которых не искупить покаянием, и ему вдруг почудилось, что на носилках лежит не маленький сын портного, а друг его Гейльнер, и весь гнев, всю скорбь свою за предательство Ганса уносит с собой в иной мир, где счет ведется не по баллам и экзаменам, не по успехам на уроках, а только по тому, чиста или запятнана у тебя совесть.

Тем временем траурный поезд выбрался на дорогу и вскоре исчез за оградой монастыря, где преподаватели во главе с эфором устроили торжественную встречу мертвому Хиндингеру, который при жизни от одной мысли о подобной чести убежал бы без оглядки. На мертвого ученика школьный учитель смотрит совсем другими глазами, чем на живого, на мгновение он убеждается в ценности всякой жизни и невозвратности детства, а ведь обычно он весьма беззаботно грешит против них.

Вечером и весь следующий день присутствие невзрачного трупа оказывало какое-то волшебное, умиротворяющее действие: поступки, речи — все будто покрылось мягкой пеленой, и на короткое время ссоры и злоба, шум и смех сгинули, как русалки с поверхности воды, оставив ее неподвижной, как будто и не было под ней никакой жизни. Если двое заговаривали об утопленнике, то произносили его полное имя: по отношению к мертвому кличка «Хинду», казалась им недостойной, А тихоня Хинду, который обычно терялся в толпе, никем не замеченный и никого не интересовавший, вдруг заполнил своим именем и своею смертью весь огромный монастырь.

На второй день приехал отец Хиндингера, несколько часов провел один в комнатке, где лежал его мальчик «затем был приглашен эфором на чашку чая и переночевал в трактире «Олень».

Наконец состоялись похороны. Гроб установили в коридоре, и альгауский портной стоял рядом и смотрел на грустные приготовления. То был настоящий портняжка, невероятно худой и остролицый, в черном сюртуке с каким-то зеленоватым отливом, в узеньких потертых брючках и со старомодным цилиндром в руках. Его маленькое прозрачное личико выглядело

огорченным, грустным и болезненным, да и сам он от нижайшего почтения перед эфором и профессорами весь так и трепетал, точно грошовая свечка на ветру.

В последнюю минуту, перед тем как носильщики подняли гроб, грустный человечек выступил вперед и застенчиво, с какой-то робкой лаской притронулся к крышке. Борясь с душившими его рыданиями, он так и остался стоять среди огромного притихшего зала, словно одинокое высохшее деревцо зимой, и было больно смотреть на этого несчастного, всеми покинутого человека. Пастор взял отца погибшего за рук и больше не отходил от него. Тогда тот надел свой старомодный цилиндр с фантастическим бантом и первым засеменил за гробом вниз по лестнице, через монастырский двор, старинные ворота, заснеженное поле к низкой кладбищенской ограде. Покуда семинаристы тянули хорал у могилы, большинство их, к, великой досаде преподавателя музыки, следили не за его указующим такт перстом, а за одинокой фигурой маленького замерзшего портного «который печально стаял, провалившись по колено в снег, и, опустив голову, слушал речи священника, эфора, первого ученика, бездумно кивал поющим школярам и

время, от времени тщетно пытался выудить из заднего кармина сюртука свой носовой платок.

— Я все время представлял себе, что на его месте стоит мой собственный отец, — сказал Отто Гартнер, когда все кончилось.

И тут вдруг все согласились с ним.

— Да, да, и я тоже об этом подумал, — слышалось отовсюду.

После полудня эфор вместе с отцом Хиндингера зашел в «Элладу».

— Водил ли кто-нибудь из вас дружбу с усопшим — спросил он с порога.

Сначала никто не отозвался, и родитель Хинду как-то боязливо с чувством горечи всматривался в лица юношей. Но в конце концов вперед выступил Луциус. Хиндингер взял его руку, недолго подержал в своей, но, так и не найдя, что сказать, отпустил и вышел, униженно кивая головой. Затем он сразу уехал, и от зари до зари поезд мчал его по занесенной снегом стране, пока он не добрался до дому, где поведал жене, в каком тиком местечке зарыли их маленького Карла.

В самом монастыре вскоре все пошло по-прежнему. Преподаватели кричали, двери хлопали, и мало кто вспоминал навсегда ушедшего «эллина». Несколько семинаристов простудились, стоя

на морозе возле злосчастного омута, и теперь кто лежал в лазарете, а кто бегал в войлочных шлепанцах и с завязанным горлом. Ганс Гибенрат хотя и сохранил ноги и горло целыми и невредимыми, однако с того несчастного дня стал как-то серьезней, словно повзрослел. Что-то в нем изменилось. Должно быть, он из мальчика превратился в юношу, и душа его, перекочевав в другое царства, теперь испуганно билась, еще не зная, где она, найдет приют. Но причиной тому был вовсе не пережитый страж смерти и не печаль по кроткому Хинду, а внезапно пробудившееся сознание вины перед Гейльнером.

А тот вместе с двумя другими семинаристами находился в это время в лазарете, глотал горячий чай и приводил в порядок собранные по случаю смерти Хинду впечатления, дабы впоследствии использовать их в своей черной тетрадочке — досуга у него было теперь вдоволь. Впрочем, особого удовлетворения он, вероятно, от этого не испытывал, так как вид у него был явно страдающий и несчастный, и с соседями по койке он почти не заговаривал. Навязанное ему со времени наказания одиночество ранило его восприимчивую и жаждущую частого общения душу, ожесточило ее. Преподаватели строго следили за ним, как

за учеником, неоднократно доказавшим свой мятежный и бунтарский дух, ученики избегали, фамулус обращался с каким-то насмешливым добродушием, и только его верные друзья — Шекспир, Шиллер и Ленау — открывали перед ним другой, куда более увлекательный и прекрасный мир, чем тот, который, унижая и подавляя, окружал его. Из «Песен монаха», поначалу настроенных на меланхоличный, схимнический лад, постепенно выросло собрание горьких и злобных стихов, направленных против монастыря, учителей, и однокашников. Находя в «своем одиночестве несколько, кисловатое наслаждение мученика, он с удовлетворением отмечал, что никто его не понимает, забирался в какой-нибудь отдаленный монастырский уголок и, кропая там свои беспощадные, полные презрения строки, чувствовал себя маленьким Ювеналом.

Через восемь дней после похорон, когда оба его товарища По несчастью уже выздоровели и Гейльнер лежал один в лазарете, его навестил Ганс. Он робко поздоровался, пододвинул стул к кровати, сел и хотел было взять руку больного, но бывший друг, недовольный, отвернулся к стенке, напустив на себя совершеннейшую неприступность. Однако на сей раз Ганс не сдался. Он крепко

схватил руку Германа и заставил его взглянуть на себя. Гейльнер, злобно скривив рот, процедил:

— Чего тебе?

— Выслушай меня, — произнес Ганс, все еще не отпуская руки. — Я был тогда трусом и бросил тебя в беде. Но ты же знаешь меня: я вбил себе в голову, что и здесь, в семинарии, я должен всех обогнать и выйти в первые. Ты называл это карьеризмом — пусть будет по-твоему, но ведь это было чем-то вроде моего идеала, да я и не знал ничего лучшего.

Гейльнер закрыл глаза. Ганс тихо продолжал:

— Видишь ли, я сожалею об этом. Я не знаю, захочешь ли ты снова стать моим другом, но простить меня ты обязан.

Гейльнер все еще молчал, не открывая глаз. Все доброе, хорошее и светлое, что было в нем, рвалось навстречу Другу, но он уже такт сжился с ролью сурового одиночки, что не в силах был сразу расстаться с этой маской. Но Ганс не отставал.

— Нет, ты обязан, Герман Уж лучше я стану последним учеником, чем буду так вот бегать вокруг тебя. Давай опять дружить и докажем всем остальным, что не нуждаемся в них.

Тут Гейльнер ответил на пожатие руки Ганса и открыл глаза.

Когда он через несколько дней покинул больничную койку, в монастыре возникло немалое волнение по поводу свежеиспеченной дружбы. Но для обоих юношей настало чудесное время. Не то чтобы оно было полно каких-нибудь особенно радостных событий, нет, просто их охватило необычно счастливое чувство общности, какого-то таинственного И молчаливого согласия И это было не то, что прежде. Долгая разлука изменила обоих. У Ганса появилось больше теплоты, нежности, мечтательности, а Гейльнер стал мужественней, в нем обнаружилось больше силы. К тому же обоим все последнее время так недоставало друг друга, что их союз казался им чем-то священным, каким-то изумительным даром.

Благодари своей дружбе оба рано созревших юноши, сами того не сознавая, робко и трепетно предвкушали что-то от нежных тайн первой любви. К тому же в ней было для них и что-то от терпкой прелести созревающей мужественности, приправленной столь же терпкой гордостью в отношении ко всем остальным семинаристам, многочисленные дружеские союзы которых тогда были еще безобидным ребячеством, — для всей братии Гейльнер так и остался нелюбимым, а Ганс — непонятым.

Чем глубже и сердечней Ганс привязывался к Герману, тем дальше он отходил от занятий. Вновь обретенное счастье, как молодое, вино, бродило у него в крови, и рядом с ним теряли свою важность, свой блеск и Ливии и Гомер. С ужасом преподаватели наблюдали, как примерный до сей поры ученик Гибенрат подпадал под дурное влияние вызывающего подозрения Гейльнера и превращался в некое проблематическое существо Ничто так не страшит школьного учителя, как странные явления, сопровождающий первые признаки брожения юности у рано развившихся мальчиков в столь опасном переходном возрасте. А в Гейльнере их с первого дня пугали черты некоторой гениальности — ведь между гением и кастой учителей издревле зияет глубокая пропасть, и стоит только подобному юноше появиться в стенах школы, как почтенные профессора в ужасе хватаются за голову. Для них гений — это тот изверг, который не трепещет перед ними, в четырнадцать лет уже курит, в пятнадцать — влюбляется, а в шестнадцать ходит в пивную, читает запретные книги, пишет дерзкие сочинения, порой с издевкой щурится на учителя и в кондуите фигурирует как бунтарь и кандидат на карцеру Учителю-педанту приятней

иметь в классе десяток заведомых тупиц, нежели одного гения, и, если взглянуть на дело трезво, он ведь прав со своей точки зрения: в его задачу не входит воспитание экстравагантных характеров, он готовит хороших латинистов, людей, не сбивающихся со счета, верноподданных граждан. Но кто здесь больше, страдает, — учитель от ученика или наоборот, кто больший тиран и мучитель, кто из них корежит и губит душу и жизнь другого, этого нельзя исследовать без гнева и стыда при мысли о собственной юности. Впрочем, это и не наше дело, а к тому же при нас всегда остается утешение, что раны, полученные в юности, у подлинных гениев почти во всех случаях зарубцовываются и вопреки школе из них вырастают люди, которые создают прекрасные творения, а когда они будут лежать на погосте и вокруг их имени воссияет приятный ореол чего-то ушедшего и далекого, учителя представят их последующим «поколениям в качестве достойных всяческого подражания образцов благородства. Десятилетие за десятилетием идет борьба между законом и вольным духом, и из года в год наблюдаем мы: стоит только появиться юноше с более глубоким и вольнолюбивым умом, как Государство и школа, не жалея сил, стараются согнуть

его у самого корня. А ведь именно те, кого так ненавидят учителя-педанты, кого они чаще всех наказывают, кого изгоняют, кто убегает, — как раз они и обогащают из поколения в поколение сокровищницу нашего народа. А сколько из них, затаив в себе гордыню, замыкается и гибнет!

В соответствии с добрым старым правилом, бытующим во всех школах, как только учителя почуяли недоброе, то к обоим странным семинаристам были удвоены не любовь и ласка, а строгость. Только эфор, гордившийся Гансом как самым прилежным учеником на уроках древнееврейского языка, предпринял неуклюжею спасательную операцию. Прежде всего он велел ему явиться к себе в кабинет — уютную комнату бывшего настоятеля монастыря в эркере, где согласно преданию доктор Фауст, родом из расположенного неподалеку Книттлингена, осушил не один кубок эльфингского. Эфора никак нельзя было назвать ограниченным человеком, кое-что он смыслил, не лишен был и практического ума, испытывал некое добродушное благоволение к своим воспитанникам и любил обращаться к ним на «ты». Но главной его бедой было раздутое тщеславие, оно-то и заставляло его, хвастовства ради, выделывать на кафедре разного рода кунт-

штюки и лишало всякой терпимости, как только кто-нибудь высказывал малейшее сомнение в его авторитете и всемогуществе начальственной власти. Он не выносил, когда ему перечили, и не был в состоянии признать даже самую незначительную свою оплошность. Вот и получалось, что безвольные и нерадивые ученики превосходно уживались с ним, а обладавшие более ярким и прямым характером страдали, так как даже намек на противоречие раздражал его. Отечески-дружескую роль с подбадривающим взглядом и проникновенным голосом он исполнял виртуозно, ее-то он и разыграл теперь.

— Прошу вас садиться, Гибенрат, — приветливо обратился он к Гансу, после того как крепко пожал руку робко вошедшему юноше. — Мне хотелось бы немного побеседовать с вами. Но позвольте говорить вам «ты».

— Пожалуйста, господин эфор!

— Ты, вероятно, уже сам заметил, дорогой Гибенрат, что за последнее время успехи твои оставляют желать лучшего, — во всяком случае, это касается древнееврейского языка. До сих пор ты, пожалуй, был первым по этому предмету, и потому меня особенно огорчает столь внезапное падение. Быть может, ты потерял вкус к изуче-

нию древнееврейского?

— Нет, что вы, господин эфор!

— Подумай как Следует! Это иногда бывает. Возможно, ты с особым усердием занимаешься каким-нибудь другим предметом?

— Нет, нет, господин эфор!

— Вот как? Ну что ж, поищем тогда других причин. Не поможешь ли ты мне, напасть на правильный след?

— Не знаю, я… я всегда готовлю уроки…

— Не сомневаюсь, дорогой мой, не сомневаюсь. Однако differendum est inter et inter! Разумеется, ты готовишь уроки, но ведь это твой долг. В былые времена ты добивался большего. Возможно, что ты выказывал большее прилежание, во всяком случае ты всегда проявлял интерес к занятиям. Вот я и задаюсь вопросом, откуда столь внезапное охлаждение? Надеюсь, ты не болен?

— Нет.

— Быть может, тебя донимают головные боли? Цветущим твой вид, правда, нельзя назвать.

— Да, голова у меня болит иногда.

— Быть может, ежедневные занятия для тебя чересчур обременительны?

— Нет, что вы!

— Или ты много читаешь помимо учебников?

Отвечай мне искренне.

— Нет, господин эфор, я почти ничего не читаю.

— Ну, тогда я не понимаю тебя, юный друг. В чем-то ведь кроется причина. Ну как, ты обещаешь мне исправиться?

Ганс вложил свою руку в протянутую правую владыки, который взирал на него ласково и в то же время строго.

— Так-то, друг мой, вот и хорошо! Крепись, а то попадешь под колеса.

Эфор пожал руку Ганса, и тот, облегченно вздохнув, направился к дверям. Но вдруг он снова услышал голос наставника.

— Одну минутку, Гибенрат! Ты ведь проводишь много времени с Гейльнером, не так ли?

— Да, довольно много.

— И, как мне сдается, больше, нежели с другими сверстниками. Или я, быть может, ошибаюсь?

— Нет, правда. Он же мой друг.

Вот оно что! А скажи, пожалуйста, как же так вы стали друзьями, вы ведь совсем не подходите друг к другу?

— Не знаю, но он мой друг.

— Тебе должно быть известно, что я не в восторге от твоего дружка. О, это вечно недовольная,

беспокойная голова! Я не хочу сказать, что он лишен способностей, но ему не хватает трудолюбия, и он дурно влияет на тебя. Мне доставило бы немалую радость, если бы ты держался от него подальше. Ну, что ты скажешь?

— Нет, этого я не могу, господин эфор.

— Не можешь? Почему, собственно?

— Я же говорю, что он мой друг. Не могу же я взять и бросить его.

— Гм... Но ты мот бы, например, несколько ближе сойтись с другими учениками. Ты же единственный, кто подпал под дурное влияние этого Гейльнера, и, как сам видишь, результаты не замедлили сказаться. Что ж тебя так особенно привлекает в нем?

— Я и сам не знаю. Но мы так хорошо относимся друг к другу, и было бы трусостью, если бы я вдруг покинул его.

— Так, так! Что ж, я не принуждаю тебя, однако надеюсь, что со временем ты отойдешь от него. Это весьма обрадовало бы меня. Я подчеркиваю — весьма обрадовало бы.

В этих последних словах уже не было и намека на прежнюю ласковость. Теперь Гансу позволили уйти.

С того дня Ганс снова рьяно набросился на за-

нятия. Но теперь это уже было не то, что прежде, когда он быстро и легко продвигался вперед, а скорее мучительная попытка не отстать, чтобы не совсем уж плестись в хвосте Он и сам хорошо сознавал, что причина этому — отчасти дружба, однако в ней он видел не потерю и не препятствие, а сокровище, которое все возместило сторицей и подарило ему некую возвышенную жизнь, согревшую его и несравнимую с прежним прозябанием, трезвым служением долгу. Он походил на юного влюбленного: ему казалось, что он способен на героические подвиги, и никак не мог смириться с такими мелочными и скучными ежедневными занятиями. Со вздохом отчаяния он каждое утро снова впрягался в старую лямку. Заниматься, как Гейльнер, который скользил по верхам, чуть ли не силой заставляя себя быстро усваивать самое необходимое, он не был в состоянии. Ну а так как друг отнимал у него почти все вечера, Ганс заставлял себя вставать на час раньше положенного и, точно с врагом, бился с еврейской грамматикой. Радовали его теперь, пожалуй, только Гомер и уроки истории. С каким-то смутным чувством, ощупью, он приближался к пониманию мира Гомера, и герои истории уже не были для него лишь именами, датами, нет, теперь

они смотрели на него горящими глазами, стояли рядом с ним, у них были живые красные губы и у каждого свое лицо и руки: у одного грубые, натруженные, у другого — спокойные, холодные, каменно-твердые, у третьего — узкие, горячие, с тонкими прожилками.

При чтении греческого текста евангелия его порой поражала близость и отчетливость образов. Так и случилось однажды, когда он читал шестую главу от Марка, где Иисус с учениками покидает лодку. Текст гласил: Εύθυζ επιγνόντεζ αύτον περιέδραμον («Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность»). Тут и Ганс увидел сына человеческого, покидающего лодку, и узнал его не по лицу и фигуре, а по великой блистающей глубине любящих глаз его, по тихо машущей, нет, скорей приглашающей и зовущей, такой красивой узкой загорелой руке. Рука эта была словно создана нежной, а вместе и сильной душой и как бы воплощала ее. На минуту перед ним возник и берег, тяжелый нос лодки, и вдруг вся картина растворилась, словно пар от дыхания! в морозном воздухе.

И так случалось с ним не раз: из книги внезапно вырывалась и оживала чья-нибудь фигура или какая-нибудь историческая картина, с жадно-

стью стараясь пережить свою жизнь вторично, увидеть отражение своих глаз в живом и трепетном взоре. Ганс воспринимал все это как должное, дивился и, когда перед ним, быстро сменяясь, оживали одна картина за другой, чувствовал, что и сам он как-то странно преображается, взгляд его проникает через всю толщу земли, словно сам господь внезапно наделил его этой силой. Чарующие мгновения эти являлись незваными, и расставался он с ними; без сожаления, как со странниками или с добрыми гостями, коих не смеешь упрашивать остаться и боишься с ними заговорить, ибо окружены они ореолом чуждым и божественным.

Ганс не делился ни с кем своими переживаниями, не сказал ни слова и Гейльнеру. А у того прежняя меланхолия сменилась мятущимся беспокойством, ум обрел необычайную остроту, он рьяно нападал на: монастырские порядки, на учителей, однокашников, погоду, жизнь человеческую, усомнился в самом существовании всемогущего, а нередко вдруг делался драчлив или выкидывал самые нелепые фортели. Будучи отделен от остальных, даже противопоставлен им, он в гордыне своей возносился над ними и пытался окончательно заострить это противоречие,

доводя его до враждебных отношений, в которые безвольно втянулся и Ганс. Оба друга оказались как бы отдельным островком, весьма, впрочем, заметным, на который все взирали с неприязнью С течением времени Ганс все меньше страдал от подобного положения. Только перед эфором он чувствовал глухой страх. Раньше ведь Ганс был его любимым учеником, теперь же семинарский владыка обращался с ним холодно, с явным пренебрежением. А Ганс, как нарочно, потерял всякую охоту к предмету, который эфор преподавал.

Отрадно было наблюдать, как всего за два-три месяца все сорок семинаристов, за исключением немногих, остановившихся в своем развитии, изменились и душой и телом. Многие вытянулись, как жерди — правда, больше за счет полноты. Из непоспевающих за ростом рукавов и панталон весьма обнадеживающе торчали костлявые щиколотки и запястья. Лица учеников являли все оттенки — от мальчишеского до почти мужского, отражая и уходящее детство, и первые, еще неуверенные попытки казаться взрослым мужчиной. А на тех, чьи фигуры еще не обрели угловатых черт переходного возраста, изучение книг Моисеевых наложило, хотя бы временно, печать мужествен-

ной солидности Толстоморденькие ребятишки почти все перевелись.

Ганс тоже изменился. Ростом и худобой он уже догнал Гейльнера и даже казался чуть старше своего друга Прежде лишь слабо намеченные выпуклости лба теперь обозначились резче, глаза запали, лицо имело не. здоровый цвет, руки, ноги и плечи были необычайно костлявые и тощие.

Чем меньше он бывал доволен «своими успехами в классах, тем решительнее под влиянием Гейльнера отстранялся от остальных товарищей. Ну а так как у него не было больше причин поглядывать на них с высоты примерного ученика и кандидата в первые, то надменности отнюдь его не красила. Однако то, что ему давали это понять и что сам он ощущал весьма болезненно, он уже не мог им простить. Особенно часто стычки случались с вылощенным Гартнером и крикуном Венгером. Как-то раз этот последний опять стал поддразнивать и допекать его. Ганс забылся и ответил ударом кулака. Хотя Венгер и был трусом, однако с таким слабосильным противником и ему легко было справиться, и он принялся беспощадно тузить Ганса. Гейльнера как раз не было в комнате, а остальные не без злорадства наблюдали, как Ганса дубасили по

всем правилам. Нос у него кровоточил, ребра ныли, всю ночь потом он от стыда, боли и гнева не сомкнул глаз. Другу он ничего не сказал, но с тех пор окончательно ушел в себя и даже редко разговаривал с соседями по койке.

Ближе к весне, когда зачастили дождливые будни, дождливые воскресенья, удлинялись сумерки в жизни монастыря, обнаружились новые веяния, стали складываться новые союзы. Жители «Акрополя», среди которых был один хороший пианист и два флейтиста, регулярно устраивали музыкальные вечера, обитатели «Germania», основали кружок, драматического чтения, а несколько юных пиетистов собирались каждый вечер для изучения очередной главы библии, не забывая и о примечаниях Кальвина.

В кружок чтецов попросился и Гейльнер, однако не был принят. Он вскипел от гнева и, чтобы отомстить, попробовал счастье в библейском кружке. Там его тоже отвергли, но все же он навязал свое общество ретивым богословам и в благочестивые беседы скромного маленького братства внес своими смелыми речами и кощунственными выпадами немалый разлад. Очень скоро, правда, развлечение это ему опостылело, хотя он еще порядочное время сохранял в разго-

воре иронически-библейский тон. Однако на него почти уже никто не обращал внимания, так как вся семинарская братия была одержима духом предприимчивости и учредительства.

Чаще всего в это время упоминалось имя даровитого и острого на язык «спартанца». А тому, помимо личной славы, важно было прежде всего немного оживить скучную компанию, при помощи веселых затей отвлечься от однообразных занятий. Прозвали его, почему-то Дунстаном; он довольно оригинальным образом умел устраивать сенсации и преуспел в этом.

Однажды утром, когда семинаристы направились в умывалку, они обнаружили на дверях бумажку, на которой под заголовком «Шесть эпиграмм из Спарты» в саркастических двустишиях высмеивались чем-либо примечательные ученики, их слабости, любимые проделки, дружеские привязанности. Парочка Гибенрат — Гейльнер тоже получила свою долю. Великое волнение поднялось в маленьком государстве. Все столпились перед дверью, как перед театральным подъездом, семинаристы жужжали, толкались, перешептывались, словно улей перед отлетом королевы.

На следующее утро вся дверь оказалась облеп-

ленной эпиграммами, Ксениями, опровержениями и подтверждениями, новыми нападками, однако сам. затейник проявил Достаточно ума и как автор уже не выступил. Цели своей — подбросить искру в копну сена — он достиг и теперь только втихомолку потирал руки. Почти все ученики несколько дней подряд состязались в ксениях, бродили по коридорам с задумчивым видом, силясь найти нужную рифму, и, пожалуй, один только Луциус, не унывая, продолжал свои занятия В конце концов кто-то из учителей обратил внимание на странное поведение своих воспитанников и запретил столь возбуждающую нервы игру.

Но хитрый Дунстан не почивал на лаврах, а подготовил тем временем свой главный удар. Таковым оказался первый номер газеты, отпечатанной крохотным форматом на стеклографе. Материал к ней Дунстан подбирал уже несколько недель. Называлась она «Дикобраз», и в основном носила сатирический характер. Гвоздем первого номера был диалог между автором Книги Иисуса Навина и маульброннским семинаристом.

Листок имел потрясающий успех, и Дунстан, лицом и повадками походивший теперь на страшно занятого редактора и издателя, стал

пользоваться в монастыре примерно такой же сомнительной славой, как в свое время великолепный Аретино[7] в венецианской республике.

Всеобщее удивление вызвало то, что и Гейльнер, оказывается, принимал живейшее участие в редактировании листка и вместе с Дунстаном придал ему сатирическое звучание. Разумеется ни острословия, ни яда ему для этого занимать не приходилось. Недели четыре крохотный листок занимал умы всех семинаристов.

Ганс Гибенрат не вмешивался в новое увлечение друга, а сам принять участие не имел ни охоты, ни способностей. Вначале он даже не заметил, что Гейльнер почти все вечера стал проводить в «Спарте», ибо с некоторых пор его занимало нечто другое. Днем он бродил вялый и рассеянный, занятия продвигались туго, да он и не проявлял к ним никакого интереса. Однажды на уроке во время разбора Ливия с ним произошло нечто странное.

Профессор вызвал его переводить. Ганс не встал с места.

— Что это значит? Почему вы не встаете? — рассердился педагог.

---

[7] Примечания: 7

Аретино, Пьетро (492–556), — итальянский писатель и памфлетист эпохи Возрождения, долгое время живший в Венеции.

Ганс не двинулся с места. Он сидел выпрямившись наклонив голову и прикрыв глаза. Вызов почти пробудил его от грез, и все же голос учителя доносился откуда-то издалека. Ганс чувствовал, что сосед сильно толкает его в бок. Но все это его как будто не касалось. Другие лица окружали его, другие руки трогали, и внимал он совсем иным голосам — близким, тихим и глубоким. Они не про износили слов, а лишь ласково журчали, словно родник.

А сколько глаз было устремлено на него — таких чужих, проникновенных, огромных и сверкающих. Быть может, то были глаза римской толпы, о которой он только что читал у Ливия, а может быть, и глаза незнакомых людей, которые пригрезились ему или. которых он когда-то давно видел на картинах.

— Гибенрат! — взревел профессор. — Вы что, спите? Ганс медленно открыл глаза, удивленно уставился на учителя и покачал головой.

— Вы спали! Или, быть может, вы мне скажете, на какой строке мы остановились? Ну!

Ганс пальцем указал в книге место. Он-то Прекрасно знал, где они остановились.

— Может быть, вы теперь изволите встать? — спросил профессор с издевкой.

И Ганс встал.

— Да чем вы в конце концов заняты? Посмотрите на меня!

Ганс посмотрел на профессора. Однако тому взгляд его не понравился, и он удивленно покачал головой. — Вам дурно, Гибенрат?

— Нет, господин профессор.

— Сядьте. После уроков прошу вас зайти ко мне в кабинет.

Ганс сел и наклонился над Ливией. Все было как наяву, он все понимал, но и в то же время его внутренний взор не в силах был оторваться от целой толпы странных образов. Теперь они медленно удалялись, неотступно глядя на него своими горящими глазами, пока в конце концов где-то далеко-далеко не растворились в туманной дымке. Голоса учителя, семинаристов, бубнивших перевод! текста Ливия, и весь незначительный шум класса, приближаясь, делались все громче и громче и скоро снова зазвучали так же явственно и четко, как обычно. Парты, кафедра, доска — все было снова на своем месте, на стене висел огромный деревянный циркуль и угольник, вокруг сидели ученики, и многие из них с наглым любопытством таращили на него глаза.

Ганс страшно испугался. «После уроков прошу вас зайти ко мне в кабинет!» — сказали ему. Боже мой, что же случилось?

Когда прозвенел звонок, профессор подозвал его и провел через толпу глазеющих учеников.

— Скажите мне теперь, что, собственно, с вами произошло? Надеюсь, вы не спали?

— Нет.

— Почему же вы не поднялись, когда я вас вызвал?

— Не знаю.

— Быть может, вы не слышали меня? Вы хорошо слышите?

— Хорошо. Я вас слышал.

— И все же не встали? И потом у вас был такой странный взгляд. О чем вы думали?

— Ни о чем. Я уже хотел встать.

— И почему же вы все-таки не встали? Стало быть, вы плохо себя чувствовали?

— Нет, я „не думаю. Я не знаю, что со мной было.

— А голова у вас болела?

— Нет.

— Хорошо, можете идти.

Еще до обеда его снова оторвали от занятий и вызвали в спальню, где господин эфор и окруж-

ной врач уже ожидали его. Ганса простукали, расспросили, но ничего определенного не выявили. Врач добродушно посмеивался и заявил, что все это пустяки.

— Нервы, нервы господин эфор, — хихикал он, преходящие приступы слабости, подобие легкого обморока. Необходимо проследить, чтобы молодой человек ежедневно бывал на воздухе. А против головной боли я пропишу ему капли.

С того дня Ганса обязали гулять в течение часа после обеда. Он, разумеется ничего против не имел. Хуже было то, что эфор категорически запретил Гейдьнеру сопровождать Ганса во время этих прогулок. Герман неистовствовал, ругался, однако вынужден был покориться. Вот Гансу и пришлось гулять в одиночестве, и, по правде сказать, он был даже немного рад этому. Весна как раз вступала в свои права. Пологие холмы мягких, красивых очертаний покрылись первой, еще прозрачной зеленью, деревья вместо зимней, графически четкой сетки ветвей теперь играли юной листвой, и на весь необозримый ландшафт будто набегала животрепещущая изумрудная волна.

Раньше, когда Ганс еще бегал в прогимназию, он иначе переживал весну, с куда большим вол-

нением и любопытством, ни воспринимал ее больше в деталях. Он следил за прилетом птиц, сначала одних, потом других, за тем, какое дерево зацветет первым, а едва наступал май, он пропадал на рыбалке. Теперь он уже не старался распознавать птиц или определять кусты по почкам. Он замечал только, как все наливается весенними соками, расцветает яркими красками, вдыхал запахи едва распустившихся листочков, мягкий, словно бродящий воздух и, не переставая удивляться, гулял по полям, Однако очень скоро он уставал, ему постоянно хотелось прилечь, уснуть, и почти все время перед глазами маячило что-то другое, а не то, что окружало его в действительности. Что это было, Он и сам не понимал, да и не раздумывал над этим. Он погружался в какие-то светлые, нежные, необыкновенные грезы. Какие-то картины, аллеи незнакомых деревьев вырастали перед ним, и ничего при этом не происходило. Просто картины чтобы любоваться ими, однако и это простое лицезрение было и переживанием. Он будто удалялся в чужие края, к другим людям, странствовал по чужой Земле, ступал по мягкой и мшистой почве, дышал каким-то чужим воздухом необычайной легкости, пронизанным тонким, пряным ароматом. Вместо

подобных картин порой являлось и чувство смутное, жаркое и волнующее, будто чья-то легкая, рука скользила по его телу.

Когда Ганс читал или занимался, ему было трудно сосредоточиться. Не интересовавшие его предметы, словно, тени, ускользали от него, и если на уроке ему пред стояло отвечать древнееврейские вокабулы, то их приходилось заучивать за полчаса до звонка. Все чаще посещали его эти, точно телесные, видения, только что прочитанное внезапно вырастало перед ним, жило и двигалось и представлялось ему куда явственней и конкретней, нежели все близлежащие предметы. И в, то время как он с ужасом замечал, что память отказывается что-либо воспринимать и с каждым днем делается все более вялой и неточной, отдаленные воспоминания внезапно вставали перед ним с поразительной ясностью, удивлявшей и пугавшей его. Посреди урока или за книгой ему вдруг представлялся отец, или старая Анна, или кто-нибудь из прежних учителей, однокашников, они вдруг как будто оживали перед ним и долгое время приковывали к себе все его внимание. А то он видел себя в Штутгарте на общеземельных экзаменах или на каникулах с удочкой в руках на берегу реки, вдыхал запах

согретой солнцем воды И все же он чувствовал, что все, о чем он грезит, происходило Когда-то давным-давно и с тех пор прошли долгие годы.

Как-то раз в теплый сырой вечер — было уже совсем темно — Ганс прохаживался по коридору с Германом и рассказывал ему о родном городке, об отце, о рыбалке, о прогимназии. Друг его был как-то особенно молчалив и тих, слушал не перебивая, порой кивал или резким движением и в то же время задумчиво рассекал воздух небольшой линейкой, которая весь день вертелась у него в фуках. Понемногу умолк и Ганс. Наступила ночь, и оба присели на подоконник.

— Знаешь, Ганс… — произнес вдруг Гейльнер. Голос его звучал неуверенно и взволнованно.

— Что?

— Да нет, Ничего.

— Говори, что ты?

— Я вот подумал, когда ты рассказывал…

— О чем?

— Скажи, ты когда-нибудь ухаживал за девушкой? И оба замолчали. Стало тихо-тихо. Об этом они еще никогда не говорили друг с другом. Ганса эта тема пугала и в то же время притягивала, точно заколдованный сказочный сад. Он почувствовал, что краска заливает лицо, пальцы

дрожали.

— Только один раз… — прошептал он. — Я был совсем еще глупым мальчишкой.

Снова молчание.

— А ты, Герман?

Гейльнер вздохнул.

— Давай лучше не надо… Знаешь, не стоит говорить об этом, все равно ни к чему.

— Нет, нет!

— У меня есть милая.

— У тебя? Неужели правда?

— Дома. Дочка соседа На рождество я ее поцеловал.

— Поцеловал?..

— Да… Знаешь, было совсем темно. Мы были на катке, и потом она позволила мне снять с нее коньки Вот, тогда-то я ее и поцеловал.

— И она ничего не сказала?

— Сказать не сказала. Только вдруг убежала.

— А потом.

— Потом… Больше ничего не было.

Он снова вздохнул, а Ганс смотрел на друга, как на сказочного героя, побывавшего в запретных кущах.

Тут зазвенел звонок — пора было отправляться спать Вот уже погасили лампу, все понемногу

утихомирились, а Ганс еще более часа лежал с открытыми глазами и все думал о том, как это его друг поцеловал свою милую.

На другой день ему очень хотелось расспросить Гейльнера, но он стыдился, а тот и сам стеснялся продолжить вчерашний разговор.

С занятиями у Ганса дела шли все хуже и хуже. Лица учителей делались злыми, когда они обращались к нему, и вообще они стали как-то странно на него поглядывать. Эфор уже заметил, что Гибенрат постепенно снова съехал со своей высоты и уже не метит в первые ученики. Один Гейльнер ничего не замечал, ибо занятия никогда не казались ему чем-то важным, а сам Ганс, опустив руки, смотрел, как все меняется, однако тужить по этому поводу не тужил.

Тем временем; сатирический листок успел надоесть Герману, и он снова обратился к своему другу. Назло эфору, он часто сопровождал Ганса во время прогулок, они грелись на солнышке, вместе грезили, читали стихи, а то и злословили по адресу семинарского владыки. Ганс все надеялся, что друг как-нибудь продолжит рассказ о своем любовном приключении, но проходил день за днем, а Герман молчал, у самого же Ганса так и не хватило духу спросить его. Своими ядо-

витыми нападками в «Дикобразе, Гейльнер ни у кого доверия не завоевал, и товарищи по комнате сторонились обоих друзей более, чем прежде.

Листок постепенно захирел, вернее, просто изжил себя, так как и был рассчитан только на несколько серых, скучных недель, какие обычно бывают перед самой весной. Теперь же, в разгар ее, и так хватало развлечений — можно было пойти погулять, затеять какую-нибудь игру во дворе, совершить ботанический поход. Ежедневно в послеобеденный час монастырский двор оживал, слышались крики и смех заядлых гимнастов, борцов, любителей побегать на перегонки и игры в мяч.

К тому же случилась новая сенсация, причиной и центром которой опять явился общий камень преткновения — Герман Гейльнер.

До эфора в конце концов дошло что Герман смеется над его запретом и почти каждый день сопровождает Ганса На сей раз владыка оставил Ганса в покое и решил взять за ушко главного грешника и своего давнишнего врага. Он вызвал Гейльнера к себе в кабинет, и сразу стал его называть на «ты». Герман немедленно опротестовал такое обращение. Эфор упрекнул его в неповиновении. Герман заявил, что он друг Гибенрата

и никто не имеет права запрещать им гулять вместе. Эфор вспылил, и в результате Гейльнера на несколько часов посадили под арест, строго-настрого запретив ему в ближайшее время даже выходить вместе с Гансом.

На следующий день Ганс отправился в. свою разрешенную начальством прогулку один, К двум часам он вернулся и вместе с другими вошел в класс. Едва начался урок, выяснилось, что Гейльнер отсутствует. Все было так же, как при исчезновении Хинду, но только на сей раз никто даже не подумал об опоздании. В три часа пополудни все семинаристы под водительством трех педагогов отправились на поиски пропавшего. Разделившись на группы, они принялись прочесывать лес, аукали, и некоторые, в том числе два учителя, высказали предположение, что Гейльнер мог наложить на себя руки.

В пять часов во все полицейские участки били посланы телеграммы, а к концу дня — срочное письмо отцу Гейльнера. Настал вечер, а все еще не было обнаружено никаких следов исчезнувшего. До глубокой ночи во всех спальнях слышался шепот и приглушенные разговоры. Предположение, что Гейльнер бросился в воду, находило среди семинаристов больше всего сторонников,

но высказывались и мнения, что он просто уехал домой. Однако тут же выяснилось, что денег у него при себе не было.

На Ганса смотрели как на соучастника. Сам же он перепугался больше всех Ночью, когда остальные высказывали всевозможные догадки, расспрашивали друг друга, болтали всякий вздор и острили, он спрятался с головой под одеяло и провел долгие мучительные часы, страшась за судьбу друга. Его смятенную душу терзало предчувствие, что Герман уже не вернется. В конце концов он совсем обессилел от страха и боли и уснул. А Герман в это время лежал в молодом леске, всего в нескольких милях от монастыря. Он продрог, сон не шел к нему, однако могучее и глубокое чувство свободы заставило его сладко потянуться и вздохнуть. Наконец-то он вырвался из своей клетки! С самого обеда он все бежал и бежал, в Книттлингене купил хлеба и теперь время от времени отламывал кусок за куском, глядя сквозь весеннюю, еще прозрачную листву на темное ночное небо, на звезды и быстро проносящиеся клочки облаков. Куда он в конце концов забредет — это ему было безразлично, важно, что он сбежал из ненавистного, монастыря, доказав эфору, что воля его сильней, чем любые приказы

и запреты.

На другой день его снова тщетно искали. Вторую ночь он провел возле какой-то деревушки, зарывшись в старой копне. С утра он снова забрался в лес, но вечером, когда решил зайти в деревню, налетел на сельского жандарма. Тот, добродушно подтрунивая, доставил его в ратушу, где Герман своим острым языком и лестью сумел завоевать сердце старосты. В конце концов тот взял его к себе переночевать и, прежде чем уложить в постель, сытно накормил яичницей с ветчиной. На следующий день его забрал с собой подъехавший отец.

В монастыре поднялось немалое волнение, когда беглеца водворили на место. А Герман ходил с высоко поднятой головой, показывай всем своим видом, что он ничуть не раскаивается, совершив столь гениальное путешествие. От него потребовали покаяния, но он отказался принести его и предстал перед судилищем учительского конвента отнюдь не робким и раболепствующим юнцом. Первоначально конвент намеревался оставить его в семинарии, но чаша оказалась переполненной, и его с позором изгнали из монастыря. В тот же вечер он вместе с отцом покинул его навсегда. Со своим другом, Гансом Гибенра-

том, ему Так и не удалось поговорить. Они успели только крепко пожать друг другу руки.

Ах, как прекрасна и благозвучна была речь господина эфора, произнесенная по поводу столь исключительного случая, свидетельствовавшего о непослушании и развращенности молодежи. Однако его отчет, высланный в адрес вышестоящих инстайций в Штутгарте, звучал куда более кротко, деловита и беззубо. Семинаристам строго-настрого запретили вступать в корреспонденцию с отчисленным чудовищем. Правда, Ганс воспринял это с улыбкой. Еще много недель в монастыре ни о чем так часто не заговаривали, как о Гейльнере и его бегстве. Но быстро бегущее время изменило общее мнение, и кое-кто, прежде боязливо сторонившийся Германа, позднее стал смотреть на него как на вырвавшегося из неволи орла.

В «Элладе» теперь пустовало два места, и тот, кто оставил свое последним, был далеко не так скоро забыт, как тот, кто покинул свое первым. Правда, эфору доставило бы большое удовольствие, если бы и вольнолюбивый беглец угомонился навсегда, хотя сам Гейльнер не предпринимал ничего такого, что могло бы нарушить мир обители. Друг его все ждал и ждал письма, но

так и не дождался. Герман словно в воду канул, и со временем рассказ о его бегстве стал сперва интересной историей, а потом и легендой. А страстного юношу после многих гениальных выходок и блужданий жизнь взяла в суровые шоры, и из него вышел хоть и не герой, но все же настоящий человек.

Над оставшимся в семинарии Гансом продолжало тяготеть подозрение, что он заранее знал о бегстве друга, и это полностью подорвало благорасположение учителей. А один из них, после того как Ганс не мог ответить подряд на несколько вопросов, заявил без обиняков «Не понимаю, почему вы не покинули семинарию вместе со своим распрекрасным дружком!»

Господин эфор теперь уже совсем не обращал внимания на Ганса и лишь изредка поглядывал на него с презрительным состраданием, как фарисей на Мытаря. По-видимому, Гибенрата уже списали со счета, заклеймив его как прокаженного.

Глава пятая

Как хомяк живет собранными летом запасами, так и Ганс еще некоторое время жил за счет ранее приобретенных знаний, но затем началось томительное прозябание, лишь изредка прерываемое бессильными попытками взлетов, безнадежность которых смешила его самого.

В конце концов он перестал понапрасну мучиться, забросил Гомера и пятикнижие, алгебру и Ксенофонта и без всякого участия наблюдал, как его слава у педагогов ступень за ступенью спускалась все ниже и ниже — от отличной к хорошей, от хорошей к посредственной, пока не упала до нуля. Когда у Ганса не болела голова — а теперь она болела почти все время, — он вспоминал о Гейльнере видел свои призрачные большеглазые сны наяву и часами думал какие-то сумрачные думы. На все чаще сыпавшиеся упреки учителей он отвечал теперь добродушной и покорной улыбкой. Одному только репетитору Видериху, приветливому молодому педагогу, эта беспомощная улыбка причиняла боль, и он обращался с мальчиком, (Явно сбившимся с пути, ласково и

бережно. Все остальные учителя возмущались им, наказывали, позорили, оставляли после уроков, а то и пытались пробудить уснувшее честолюбие ироническим поддразниванием.

— Если вы случайно не изволите спать, то, быть может, соблаговолите перевести вот эту фразу?

Величавое негодование проявлял господин эфор. Сей самонадеянный человек, возомнивший бог весть что о своем властном взгляде, буквально выходил из себя, когда Ганс на его дарственно грозное оковращение отвечал покорной и кроткой улыбкой, которая действовала на нервы семинарского владыки.

— Уберите эту тупоумную улыбку! У вас имеются все основания для горестных слез!

Пожалуй, большее впечатление произвело на Ганса отчаянное письмо отца, в котором тот заклинал его Исправиться!. Это эфор написал господину Гибенрату, и маклер безумно перепугался. Письмо состояло в основном из знакомых доброму папаше оборотов речи, выражавших то нравственное возмущение, то попытку ободрить, и все же помимо воли отправителя в нем слышались плаксивая жалоба, причинившая Гансу немалую боль.

Все эти исполненные чувства долга радетели от

педагогики, пестователи молодежи эфор и господин Иосиф Гибенрат, профессора и репетиторы, видели в Гансе препятствие к осуществлению своих желаний, упрямого увальня, которого необходимо силой вернуть На путь истинный, Никто из них, за исключением, пожалуй, репетитора Видериха, еще не утратившего способность к состраданию, не разглядел в беспомощной улыбке на худеньком мальчишеском лице признаков исстрадавшейся души, которая, погибая, в страхе и отчаянии пугливо озирается вокруг. И уж никто не думал о том, что именно школа и варварское тщеславие отца и некоторых учителей довели это хрупкое существо до такого состояния». Зачем заставляли его в самом нежном, восприимчивом и опасном возрасте ежедневно заниматься до поздней ночи? Зачем отняли кроликов, отделили от товарищей, запретили бегать на рыбалку, бродить По лесам Зачем привили ему этот пустой и низменный идеал столь гнусного, испепеляющего честолюбия, лишили заслуженных каникул даже после экзамена.

А теперь он, словно загнанный лошонок, лежал у обочины и уже ни на что не был годен.

В начале лета окружной врач еще раз подтвердил, что Ганс страдает нервными приступами;

вызванными в основном периодом роста) В каникулы ему следует хорошенько питаться, почаще гулять в лесу, и тогда все обернется к лучшему.

Но, увы, Ганс не дотянул и до каникул. За три недели до их начала на одном из уроков учитель резко отчитал его. При этом он так разбушевался, что даже не заметил, как Ганс упал на скамью, задрожал и судорожно разрыдался. Занятия пришлось прервать, и Ганса на полдня уложили в постель.

На следующий день на уроке математики Ганса вызвали, велели начертить геометрическую фигуру и доказать теорему. Он вышел к доске, и вдруг у него Закружилась голова. Ганс бессмысленно водил мелом и линейкой, уронил и то и другое, наклонился, чтобы поднять их, упал на колени, да так и остался, не в силах подняться.

Окружной врач рассердился, узнав о таких фокусах своего пациента. Правда, теперь он высказывался более осторожно, предписал немедленный отдых и посоветовал обратиться к врачу-невропатологу.

— Чего доброго у него еще начнется пляска святого Витта, — шепнул он эфору, который только кивал в ответ, найдя в такой момент приличным сменить гневно-суровое выражение лица на оте-

чески сокрушенное, что, впрочем, не составляло для него никакого труда и даже красило его.

Вместе с доктором они написали письмо папаше Гибенрату, сунули конверт Гансу в карман и отправили мальчика домой. Раздражение эфора превратилось теперь в мрачную озабоченность: что подумает о новом несчастье штутгартское начальство, уже встревоженное бегством Гейльнера? Ко всеобщему удивлению, он даже воздержался от произнесения соответствующей случаю речи и в последние часы пребывания Ганса в монастыре был с ним необычайно велеречив. Что этот семинарист не вернется После своего отдыха не вызывало у владыки никакого сомнения. Ведь если даже он и поправится ему в течение немногих остающихся недель уже не наверстать упущенные месяцы — слишком он отстал, И хотя эфор простился с Гансом ободряюще сердечным «до свиданья, но когда она последующие дни переступал порог «Эллады, и видел три осиротевших койки, ему делалось тягостно на душе и стоило большого труда подавить в себе мысль, что в исчезновении двух одаренных воспитанников доля вины падает и на него. Впрочем, будучи человеком мужественным и нравственно сильным, он скоро сумел изгнать из своей души сии

никчемные и мрачные сомнения.

Вот уже монастырь с его церквами, арками, башенками остался позади, исчезли из глаз Ганса и лес и цепь холмов, теперь мимо побежали тучные луга и сады Бадена. Вскоре поезд миновал Пфорцгейм, и сразу же показались изрезанные многочисленными долинами с журчащими ручейками иссиня-черные горы Шварцвальда, синева которых в раскаленном летнем воздухе представлялась особенно сочной, суля прохладу и благодатную тень. Юноша с чувством радости следил за этой сменой по мере приближения к цели ландшафт делался все более знакомым и привычным. Но при виде родного городка Ганс подумал об отце, и мучительный страх перед встречей испортил ему все удовольствие этого маленького путешествия. Он снова вспомнил поездку в Штутгарт, экзамен, прибытие в Маульбронн, торжества по случаю приема, а также то волнение и боязливую радость, которые при этом испытывал. Значит, все это было ни к чему? Не хуже эфора Ганс знал, что в семинарию он больше не вернется и что с наукой и честолюбивыми надеждами теперь покончено навсегда. Но сейчас не это печалило его: страх перед разочарованным отцом, чьи надежды он так обманул,

сжимал сердце юноши. Ничего Гансу так не хотелось, как прилечь, выспаться, выплакаться, досыта помечтать после всех пережитых мучений, побыть одному и обрести наконец покой. Но он опасался, что дома ему это не удастся В конце концов у него сильно разболелась голова, и, хотя он проезжал как раз по своим любимым местам, где в прежние годы, не зная усталости, бродил по горам и. рощам, Ганс перестал смотреть в окошко и даже чуть не прозевал вокзал родного городка. Пора было сходить.

Вот он уже стоит на платформе, с зонтиком, и дорожным мешком, «и отец подвергает его тщательному осмотру.

Сообщение эфора превратило разочарование и возмущение господина Гибенрата в безграничный страх Он уже представлял себе своего неудачливого сына в ужасном состоянии. Но теперь он нашел, что мальчик хотя и худ и немного бледен, но все же стоит на своих двоих. Это несколько утешило его. Но самым ужасным был все же тщательно скрываемый страх перед душевной болезнью, на которую намекали врач и эфор, В семье Гибенратов никто до сих пор не страдал такого рода заболеваниями и о душевнобольных говорили обычно с усмешкой или с

презрительной жалостью, как о «психах», а тут вдруг его Ганс выкинул такую штуку!

Первый день мальчик был рад, что его не встретили упреками. Затем он обратил внимание на пугливо-робкую бережность, с какой обращался к нему отец и которая стоила ему, по всей видимости, больших усилий. Иногда (он замечал, что отец бросает на него странные, испытующие взгляды, исполненные затаенного любопытства, в разговоре придерживается какого-то фальшивого тона и, стараясь оставаться незамеченным, следит за ним. От этого Ганс сделался еще более пугливым его стал мучить какой-то неопределенный страх перед самим собой. В хорошую погоду он часами валялся в лесу и чувствовал себя при этом совсем неплохо. Порой его поврежденную душу согревал слабый отблеск прежнего ребячьего блаженства, то это была радость при виде цветка или жука, то когда он слушал пение птиц или вздрагивал от шороха вспугнутой дичи. Но все это длилось лишь мгновения. Чаще всего он просто лежал на мшистой земле, голова его была словно налита свинцом, и он тщетно пытался о чем-нибудь думать, пока к нему снова не являлись видения и не увлекали в иные просторы. Почти «всегда его теперь мучили головные боли,

а стоило ему вспомнить монастырь или прогимназию как горы книг, бесконечные уроки и домашние задания чудовищным кошмаром обрушивались на него и в разламывающейся голове Ливии и Цезарь, Ксенофонт и алгебраические задачки кружились в дикой и страшной пляске.

Однажды ему представилось, будто друг его Гейльнер лежит мертвый на носилках и он хочет подойти к нему, но эфор и учителя оттесняют его, а когда он пытается все же пробиться к Герману — грубо отталкивают. Кругом стоят не только профессора семинарии и репетиторы, но и директор и штутгартские экзаменаторы, и лица у всех злые и ожесточенные. Вдруг все меняется, на носилках уже лежит утонувший Хинду, а рядом стоит его чудак отец с кривыми ногами и в огромном цилиндре.

И еще одно видение: он бежит по лесу и ищет сбежавшего Германа. Тот все время мелькает вдали между стволов, но как только Ганс пытается позвать его, Гейльнер исчезает за кустами. Но вот наконец он останавливается, подпускает к себе Ганса и говорит: «Знаешь, а у: меня есть милая». Тут он неестественно громко хохочет и снова исчезает в кустах.

Вот Ганс видит, как худой красивый человек

выходит из лодки. У него такие спокойные, прекрасные, божественные глаза и миротворные руки. Ганс бежит ему на встречу. Но вдруг все расплывается, и Ганс понимает, кто это был. Он вспоминает строки из евангелия «Εύθυζ επιγνόντεζ αύτον περιέδραμον». Но теперь ему во что бы то ни стало надо вспомнить, какая это форма περιέδραμον и как будет этот глагол в неопределенном наклонении, в Прошедшем и будущем временах. Ганс спрягает его в единственном и множественном числи, и, как только запинается, его от страха прошибает пот. Придя в себя, он чувствует, что голова его вся изранена, и, невольно скривив рот в полусонной виноватой улыбке, он тут же слышит возглас эфора: «Что это еще за глупая улыбка! Будто вам нечего больше делать, как улыбаться!

Состояние Ганса не улучшалось, скорее даже ухудшилось, но изредка выпадали и хорошие дни. Домашний врач, который в свое время пользовал матушку Ганса и установил ее смерть, а теперь навещал отца, так как тот страдал приступами желчи, каждый раз, когда обследовал Ганса, вытягивал физиономию и со дня на день откладывал окончательный диагноз.

Только в эти дни Ганс вдруг осознал, что по-

следние два года в прогимназии у него не было друзей. Его товарищи по классу уехали в другие города или поступили в ученики к ремесленникам. Иногда он их видел на улице, но ни с кем его ничто не связывало, никого он не навещал, да и не было до него никому никакого дела. Раза два с ним приветливо заговаривал директор. Учитель латыни и пастор, встречая его на улице, доброжелательно кивали ему, но, в сущности, Ганс их больше не интересовал. Ведь он уже не был сосудом, который можно заполнить чем угодно, не был он и пашней, которую можно засеять любыми семенами. А потому и не было уже смысла тратить на него время, печься о нем.

Возможно, Гансу пошло бы, на пользу, если бы пастор уделил ему немного внимания. Но что он мог дать? Вкус к науке или по крайней мере стремление к ней он в свое время привил Гансу, ну, а большим он и не располагал. Не был он и тем священником, чья латынь невольно вызывает улыбку и чьи проповеди списаны с хорошо известных источников, но к которым мы, случись беда, так охотно обращаемся. У них ведь такие добрые глаза, и они знают столько хороших слов, облегчающих наши страдания! Папаша Гибенрат тоже не (был способен к роли друга и утешителя,

хоть и старался, как мог, скрыть «от Ганса свое раздражение и разочарование.

Ганс чувствовал себя всеми «покинутым, нелюбимым. Он подолгу сидел в саду, греясь на солнышке, а то лежал в лесу, погрузившись в свои мучительные мысли и лихорадочные грезы. Чтение ему не помогало — сразу же начинали болеть глаза и голова, и из каждой книги, стоило только открыть ее, вырастал призрак монастырской жизни, и страх загонял его в какие-то жуткие углы, где заходилось дыхание и где чьи-то горящие глаза заставляли его цепенеть от ужаса.

В довершение всего больному покинутому мальчику стал являться и другой призрак и, как некий фальшивый утешитель, постепенно сроднился с ним, сделался необходим, То была мысль о смерти. Ведь так легко достать какое-нибудь огнестрельное оружие или прикрепить где-нибудь в лесу петлю. Почти ежедневно, как только, он уходил в лес, подобные мысли преследовали его; он уже выискивал уединенные места и в конце концов нашел уголок, где хорошо было бы умереть и который он окончательно определил местом своей кончины. Все вновь и вновь он посещал его, сидел там, и испытывал какую-то необычную радость, представляя себе как его

скоро найдут здесь мертвым. Он выбрал и сук для петли, проверил, достаточно ли он прочен, — больше никаких затруднений не предвиделось. Наконец он написал, правда с большими, перерывами, и письма, которые должны были найти при трупе: коротенькое — отцу и очень пространное — Герману Гейльнеру.

Эта приготовления и уверенность в принятом решении оказывали благодатное действие на душу Ганса. Сидя под роковым суком, он пережил не один час, когда чудовищный гнет оставлял его, и появлялось почти радостное, легкое чувство. Вскоре и отец заметил некоторое улучшение в состоянии сына, и Ганс испытывал немалое удовольствие от того, что тот, собственно, радовался настроению, причиной которого была уверенность в его скором конце.

Но почему он уже давно не повис на облюбованном суку, Ганс и сам не знал. Мысль эта вполне созрела, смерть была делом решенным, что порождало даже некоторое удовлетворение, и Ганс в эти последние дни не отказывал себе в удовольствии испить до дна свои одинокие мечты, всласть погреться на солнце, как это охотно делают люди перед длительным путешествием. Ведь отправиться в путь он мог в любой день,

все уже было приведено в порядок. Он ощущал какую-то особую горестную сладость от того, что по своей воле оставался еще среди старого окружения, и любил заглядывать в лицо людям, которые не имели никакого представления о его страшном решении. Встретив доктора, он думал: «Ну, погоди, ты еще увидишь!»

Судьба, дав Гансу порадоваться этим мрачным намерениям, приглядывалась, как он день ото дня черпает из чаши смерти по нескольку капель наслаждения и жизненных сил. Не то чтобы она очень уж дорожила этим искалеченным существом, но, прежде чем кануть в вечность, оно должно было завершить свой круг, хоть немного отведать горькой сладости жизни.

Ганса стали реже посещать мучительные, неотвязные видения, уступив место усталому равнодушию, вялому настроению, в котором он бездумно пребывал целые часы и дни, безразлично глядя в синеву. Порой казалось, что он вовсе впал в детство и бродит по земле; точно лунатик. Однажды вечером, сидя под сосной в таком вялом, сумеречном настроении, он мурлыкал себе под нос, чуть ли не в двадцатый раз, старинный стишок, запомнившийся ему еще во времена прогимназии:

Нет мочи, нет мочи,
И тошно мне очень.
Нет ни грошика в кармане,
Нет в котомке ничего.

Неподалеку, у окна, стоял отец и с ужасом прислушивался. Этому сухому человеку было непонятно такое приятное, бездумное мурлыкание, и он, вздохнув, расценил его как признак безнадежного слабоумия. О тех пор он с еще большим страхом стал следить за сыном, Тот сразу заметив это, еще сильнее страдал, однако никак не мог решиться захватить с собой веревку, дабы наконец воспользоваться уже давно выбранным крепким суком.

Между тем наступила самая жаркая пора. Со времени общеземельного экзамена и летних; каникул прошел уже год. Иногда Ганс вспоминал об этом, но это его не трогало, он как-то отупел. Вот рыбку он поудил бы, но, он не смел спросить отца. Часами он стоял на берегу в каком-нибудь укромном Местечке, где его никто не видел, мучился и (горящими глазами следил за плавными движениями темных, бесшумно проплывающих мимо рыб. Ближе к вечеру он по-над берегом поднимался вверх, чтобы выкупаться, и так как

он при этом обязательно проходил мимо небольшого дома управляющего Гесслера, то заметил, что Эмма Гесслер, о которой он так мечтал три года назад, снова вернулась домой. Несколько раз он издали с большим любопытством следил за ней, но она ему уже не нравилась, как раньше. Тогда это была изящная, тоненькая девочка, теперь она выросла, и у нее появились какие-то, угловатые движения, к тому же модная, вовсе не детская прическа изменила, ее до неузнаваемости. Длинное платье тоже ее не красило, а попытки подражать взрослой женщине были явно неудачны. Ганс находил ее смешной, однако при воспоминании о том, какое странно сладкое, смутное и горячее чувство он испытывал в прежние годы, ему становилось чего-то жаль.

Да и, все тогда было по-другому, куда светлей и радостней. Сколько времени он ничего другого не знал, кроме латыни, истории, греческого, экзаменов, семинарии и, головной боли! А тогда он читал сказки и истории про разбойников, в садике вертелась игрушечная мельница, которую он сам смастерил, по вечерам в подворотне он слушал жуткие рассказы Лизы Нашольд и долгое время считал старика соседа, долговязого Иоганна, по прозванию Гарибальди, настоящим

разбойником, часто видел его во сне; и весь-то год он чему-нибудь радовался: то сенокосу, то уборке клевера, потом — первой рыбалке, ловле раков, сбору хмеля, слив, кострам, когда жгли картофельную ботву, началу молотьбы, а в промежутках каждому божьему дню, особенно воскресному и праздничному. А сколько тогда было всяких таинственных вещей, которые, точно по волшебству, притягивали его: дома, переулки, лестницы, чердаки и сеновалы, колодцы, заборы, люди и животные, самые что ни на есть разные; кого-то он любил и знал, кто-то казался ему необыкновенно загадочным и привлекательным. Он всегда помогал собирать хмель, заслушивался песнями взрослых девушек, запоминал слова, чаще всего до смешного забавные, но иногда странно печальные и такие жалостливые, что к горлу подступал комок.

Все это вдруг куда-то кануло, исчезло, и сразу он этого даже не заметил. Сначала прекратились вечера у Лизы Нашольд, за ними — ужение голавлей в воскресенье до обеда, потом чтение сказок, и так одно за другим, пока он не перестал бегать на сбор хмеля и не приказала долго жить игрушечная, мельница в садике. Но куда же все это пропало?

Так и случилось, что рано созревший юноша в пору своей болезни пережил второе, призрачное детство. Его обделенная душа с внезапно пробудившейся тоской бежала в те далекие прекрасные годы и, словно заколдованная, бродила в дремучем лесу воспоминаний, отчетливость и сила которых скорей всего и свидетельствовали о некоторой болезненности. Он переживал все с неменьшей теплотой и страстностью, чем когда-то. Его обманутое, исковерканное детство наконец прорвалось, точно наглухо заложенный родник.

Стоит срубить дереву крону, и оно у самых корней пускает новые побеги. Так и душа, загубленная в пору цветения, часто возвращается к своей весне, к полному сладостных предчувствий детству, как бы желай дочерпнуть здесь новые надежды и скрепить оборвавшуюся было нить жизни. Быстро и стремительно поднимаются сочные побеги — но, то лишь призрачная жизнь, и никогда уже здесь не вырасти настоящему, здоровому дереву.

То же случилось и с Гансом Гибенратом, и потому давайте проследим за стежками грез в стране его детства.

Дом Гибенратов стоял неподалеку от старого

каменного моста, как раз на углу между двумя совсем не похожими друг на друга улицами. Одна из них, на которой, собственно, стоял отчий дом Ганса, была самой длинной, широкой и богатой улицей городка и называлась улицей Дубильщиков. Другая — узкая и бедная — круто поднималась в гору и называлась Соколиной; Когда-то, давным-давно, здесь стоял трактир, на вывеске которого красовался сокол.

На улице Дубильщиков, дом к дому, жили все добропорядочные, уважаемые горожане, владельцы этих самых домов, со своим постоянным местам в церкви и собственными садиками, поднимавшимися крутыми террасами к сооруженной еще в семидесятых годах железнодорожной насыпи, которая вся заросла желтым дроком; вдоль нее тянулись бесконечные заборы. По богатству улица Дубильщиков могла помериться, пожалуй, только с Базарной площадью, где высилась церковь, окружная управа, суд, ратуша и попечительство, а по своему опрятному достоинству она производила даже впечатление аристократической. Правда, улицу Дубильщиков не украшали официальные здания, зато — старинные и недавно возведенные бюргерские дома с веселыми, светлыми кровлями и солидными

подъездами, а также радующие глаз старомодные постройки. Здесь было как-то особенно приветливо и уютно, должно быть потому, что второй ряд домов отсутствовал и напротив окон бежала река, забранная по берегам деревянными балками.

Если улица Дубильщиков была длинной, широкой, светлой и богатой, то Соколиная являла собой полную противоположность. Покосившиеся мрачные домики, покрытые пятнами стены, обвалившаяся штукатурка, нависшие фронтоны, кое-как заплатанные двери и окна, перекосившиеся печи, дырявые водостоки — вот что определяло ее облик. Здесь дама загораживали друг другу свет, налезали один на другой, улочка была, узенькая, причудливо искривленная, на ней царил вечный сумрак, а в дождливую погоду и после захода солнца — какая-то сырая темень. Перед окнами на палках и «веревках вечно сушилось белье — как ни была мала и бедна Соколиная, тут ютилось множество семей, не говоря уже о съемщиках и завсегдатаях ночлежек. Все уголки скособочившихся, разваливающихся домов были густо заселены, здесь свили себе гнездо бедность, порок и болезни. Если в городке вспыхивал тиф, то обязательно на Соколиной, случалось ли убийство — тоже

там, обокрали кого-нибудь — вора ищут прежде всего на Соколиной. Странствующие коробейники располагались там на ночлег, и в их числе чудаковатый продавец москательного товара по прозванию Готтентот и точильщик Адам Гиттель, о котором ходила молва, что он великий грешник и способен на любое преступление.

В свои Первые школьные годы Ганс частенько, забегал на Соколиную и вместе с ватагой белоголовых оборвышей сомнительной репутации слушал россказни известной всему городу Лотты Фромюллер об убийствах и прочих злодеяниях. То была разведенная жена владельца небольшого питейного заведения, уже имевшая за плечами пять лет каторги. Когда-то она славилась своей красотой, выбирала кавалеров среди фабричных, и не раз из-за нее бывали драки и поножовщина. Теперь она жила в одиночестве и коротала вечера после работы на фабрике, рассказывая за кофейком всевозможные истории. При этом двери ее каморки всегда стояли настежь, и, помимо соседок и молодых рабочих, с порога ее слушали ребятишки со всего проулка, приходившие то в! неистовый восторг, то в дикий ужас. На почерневшем каменном очаге булькала вода в котле, рядом мигал огарок восковой свечи и вместе с

синеватыми огоньками углей освещал мрачную каморку, на стенах и потолке которой огромные тени слушателей, словно страшные призраки, совершали свой таинственный танец.

Здесь-то восьмилетний мальчик и познакомился с братьями Финкельбейн и, вопреки строгому запрету отца, примерно в течение года водился с ними. Звали братьев Дольф и Эмиль. Великие мастера ставить в лесу запрещенные силки, они были горазды на всевозможные проделки и выдумки наводили на всю округу страх своими набегами на фруктовые сады и слыли первыми сорванцами городка. Помимо того, они промышляли продажей птичьих яиц, свинцовых пулек, воронят, скворцов и зайцев, ставили на ночь жерлицы, несмотря на запрет, и во всех садах чувствовали себя как дома: ни один забор не был для них слишком высок, ни одна каменная ограда настолько густо усыпана стекляшками, чтобы они не мог, ли мигом перемахнуть через нее.

Однако, пожалуй, самое главное заключалось в том, что на Соколиной улице жил Герман Рехтенгейль, к которому Ганс в то время страстно привязался. Это был круглый сирота, очень болезненный, развитой не по годам, незаурядный ребенок с бесцветным страдальческим лицом,

не по возрасту сурово поджатыми губами и чересчур острым подбородком. Хромоножка, вынужденный постоянно опираться на палку, он не мог принимать участия в играх уличных мальчишек, а мастерить он умел чудо как ловко Его особой страстью к рыболовству вскоре зажегся и Ганс. Тогда у него не было еще разрешения, но они все равно тайком удили в укромных местах, ведь если уже охота доставляет большую радость, то, как известно, браконьерство — ни с чем не сравнимое наслаждение. Хромоногий Рехтенгейль научил Ганса вырезать удилища «сплетать конский волос и бечевочные силки красить лески, точить крючки. Научил он его и предсказывать погоду, следить за рекой, мутить воду отрубями] выбирать приманку, правильно ее насаживать, крепить поплавок, рассказал ему, какая водится в этих местах рыба и как надо ее подслушивать, сидя на берегу с удочкой Молча передавал ему необходимые приемы и то чрезвычайно тонкое чутье, которое подсказывает, когда надо подсекать рыбу, а когда и травить леску Изящные бамбуковые удилища, стеклянные лески, хитроумные поплавки и прочую снасть, продававшуюся в магазине, он глубоко презирал и поносил и вскоре убедил Ганса в том, что удить

удочкой, которую ты не сделал собственными руками от ручки до крючка, — вещь немыслимая.

С братьями Финкельбейн Ганс разошелся, рассорившись, а тихий хромоногий Рехтенгейль покинул его без всяких распрей. В один февральский день он свалился на свою бедную лежанку, положил клюку поверх одежды на табуретке, забился вознобе и очень скоро тихо угас. Соколиная улица тут же забыла его, и только Ганс еще долго хранил о нем самые теплые воспоминания.

Однако Германом Рехтенгейлем число самобытных жителей Соколиной улицы еще далеко не исчерпывалось. Кто, к примеру, не знал в городке почтальона Реттелера, выгнанного со службы за пьянство, который раз в две недели непременно валялся под забором или учинял ночной дебош, а в остальное время был кроток, словно дитя, и всегда улыбался какой-то доброжелательной и ласковой улыбкой? Ганса он потчевал понюшкой табаку из своей овальной табакерки, принимал от него в дар рыбу, жарил ее и приглашал юного рыбака отведать ее вместе с ним. Дома у него стояло чучело коршуна со стеклянными глазами и старинные часы с затейливым боем, каждый час, дребезжа, наигрывавшие всеми давно забытый танец. А кто не знал старого механика

Порша, никогда не расставшегося с манжетами — даже когда выходил на улицу босиком? Будучи сыном сельского учителя старой закваски, он знал половину библии наизусть и вдобавок уйму, поговорок и всевозможных поучений; но ни это, ни его убеленная сединами голова не мешали ему не пропускать ни одной юбки и частенько напиваться. Чуть заложив за воротник, он любил посидеть на тумбе невдалеке от угла гибенратовского дома, окликать всех прохожих по имени, так и сыпля при этом поговорками.

Ганс Гибенрат-младший, — будто сейчас слышал Ганс, — чадо мое возлюбленное, внемли словам моим. Как говорил Сирах? Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха. Как зеленеющие листья на густом дереве — одни спадают, а другие вырастают, так и род от плоти и крови — один умирает, а другой рождается. А теперь ступай домой, тюлень вяленый!

Вопреки своим благочестивым изречениям, сей старец был весь напичкан всевозможными таинственными легендарными историями о привидениях и домовых. Он, оказывается, точно знал, где подобная нечисть водится, и сам же вечно колебался между верой и неверием в свои

собственные рассказы. Чаще всего он приступал к ним несколько небрежно, как бы хвалясь, будто посмеиваясь над самым рассказом и над слушателями, но понемногу он пугливо пригибался, голос его звучал все глуше, и заканчивал он тихим, но внятным шепотком, так что мороз подирал по коже.

Сколько страшного, неразгаданного, смутно привлекательного таила в себе эта маленькая, бедная улочка! Здесь жил и слесарь Брендле, после того как закрылась его лавочка, а беспризорная мастерская окончательно развалилась. Полдня он сидел у окна, мрачно глядя на оживленную уличную толпу, но стоило какому-нибудь зазевавшемуся неумытому соседскому оборвышу попасть ему в лапы, как он с животной радостью принимался мучить его, таскать за волосы, за уши и щипать до тех пор, покуда все тельце малыша не покрывалось синяками. Но однажды его нашли на лестничной площадке: он висел в петле из цинковой проволоки, и до того у него был страшный вид, что к нему никто и, приблизиться не посмел, покамест старик Порш, подойдя сзади, не перерезал проволоку кровельными ножницами Чудовищный труп с вывалившимся языком упал вперед и скатился с лестницы прямо

в остолбеневшую толпу зевак.

Стоило Гансу с широкой и светлой улицы Дубильщиков свернуть на сырую и всегда полутемную Соколиную, как вместе с удушливыми и такими странными запахами его охватывало сладостно-жуткое чувство — какая-то смесь любопытства, страха, нечистой совести и блаженного предчувствия необычайных приключений. Ведь Соколиная улица была единственным местом, где внезапна могла ожить какая-нибудь сказка или совершиться чудо, где так легко было поверить в колдовства и даже встретиться с привидением и где Ганс испытывал такую же сладостную до боли жуть, как при чтении саг или нашумевших книжиц рейтлингской народной библиотечки, которые учитель, обнаружив у тебя, тут же отбирал и в которых рассказывалось о позорных деяниях и каре, постигшей Зонненвиртле, Шиндерганнеса, Мессеркарле, Постмихеля и прочих мрачных героев, преступников и авантюристов.

Но, помимо Соколиной улицы, в городке имелось еще одно местечко, где было не так, как всюду, где всегда представлялась возможность что-то пережить, услышать, а то и заблудиться в лабиринте темных чердаков и других необыкновенных помещений. Таким примечательным

местом было огромное старое здание дубильни неподалеку от гибенратовского дома. На темных чердаках там висели шкуры, в подвале имелись прикрытые ямы, потайные ходы, и здесь по вечерам Лиза Нашольд рассказывала детям увлекательные сказки. У нее в каморке было тише, приветливей, как-то уютней, чем на Соколиной, однако не менее загадочно. Возле дубильных ям, в подвале, на складах и у стеллажей подмастерья делали что-то непонятное и странное, в огромных зияющих пролетах всегда было тихо и жутко, но необыкновенно интересно всесильного и вечно ворчащего хозяина все боялись и избегали, точно он поедал маленьких детей живьем, а Лиза Нашольд казалась здесь доброй феей — это была заступница и мать всем малышам, птицам, кошкам, щенятам, всегда щедрая на ласку, песий и сказки.

По закоулкам и лестницам этого давно уже чуждого ему мира Ганс Гибенрат и бродил теперь в своих мыслях и мечтах. От своего великого разочарования и чувства безнадежности он бежал в доброе старое время, когда он еще был полон надежд и весь мир представлялся ему огромным заколдованным лесом, в непроходимых зарослях (которого его поджидали опасности, таились

заговоренные клады, прятались изумрудные замки. Совсем неглубоко он проник в его дебри, а уже устал, прежде чем чудеса открылись ему, и вот он снова стоит перед сумеречными, полными загадок вратами, но на сей раз изгоем, так, праздного любопытства ради.

Раза два Ганс побывал на Соколиной улице и застал там прежний полумрак, тошнотворный запах, прежние закоулки и темные лестничные клети. Как и прежде, перед дверьми сидели седовласые старики и старухи, с криком и писком у их ног возились немытые светлоголовые ребятишки. Механик Порш еще больше постарел. Ганса он уже не узнал и ответил на его робкое приветствие насмешливым блеянием Долговязый Иоганн, по прозвищу Гарибальди, умер, умерла и Лотта Фромюллер. Однако почтальон Реттелер оказался на месте. Он пожаловался юноше на ребятишек, сломавших его старинные часы, предложил ему понюшку табаку, а затем стал клянчить денег. В конце концов он рассказал Гансу о братьях Финкельбейн, один из которых поступил-де на табачную фабрику и уже пьет, как большой, а другой после поножовщины в престольный праздник дал тягу, и вот уже год как его никто не видел. Все это произвело на Ганса какое-то

жалкое и тяжелое впечатление.

Однажды вечером он зашел на старую дубильню. Его. так и потянуло пройти через знакомую подворотню, пересечь сырой двор, как будто в этом обветшалом огромном здании где-то было спрятано его детство вместе со всеми теперь утраченными радостями.

По кривой лестнице и выложенному каменными плитами пролету он ощупью пробрался на чердак, где висели натянутые шкуры, и вместе с острым запахом кож вдруг вдохнул целое облако внезапно нахлынувших на него воспоминаний. Потом он спустился, зашел на задний двор, где были дубильные ямы и под островерхими кровлями на стеллажах сушилась дубильная закваска. И правда, на каменной приступке здесь сидела Лиза Нашольд с корзиной у ног и чистила картошку, а рядом, разинув рты, стояли ребятишки.

Ганс остановился в дверях и прислушался. Великая тишина царила над скрывающимся в сумерках дубильным двориком, и, кроме ласкового журчания реки, протекавшей за оградой, слышалось лишь поскрипывание ножа, которым Лиза чистила картошку, да ее повествующий голос. Притихшие дети сидели вокруг на корточках. Лиза рассказывала о святом Христофоре,

как его ночью позвал детский голосок с другого берега реки…

Некоторое время Ганс стоял и слушал, потом тихо удалился и, пройдя через темный пролет, зашагал домой. Он почувствовал, что не может уже вернуться в свое детство и слушать по вечерам рассказы Лизы. С тех пор он стал обходить и старое здание дубильни, и Соколиную улицу.

Глава шестая

Осень все больше вступала в свои права. Среди черных еловых лесов, словно красные и желтые факелы, светились редкие лиственные деревья, в долинах долго стоял густой туман, прохладными зорями над рекой клубился пар.

А по окрестностям городка все еще бродил бледный семинарист — невеселый, усталый, старательно избегающий встреч. Врач прописал ему капли, рыбий жир, яйца и холодные обтирания.

Не удивительно, что все это не помогало ему. Всякая здоровая: жизнь должна иметь смысл и цель, а их-то юный Гибенрат как раз и утратил. Теперь отец уже твердо решил сделать его писарем или отдать в ученики к ремесленнику. Правда, мальчик еще слабоват, пусть наберется сил. Однако в ближайшее же время его надо пристроить к делу.

Как только улеглись первые сумбурные впечатления и Ганс сам перестал верить в самоубийство, столь, разноликие страхи, прежде будоражившие его, сменились ровной меланхолией, в которой он медленно и беззащитно тонул, словно в без-

донной трясине.

Теперь он бродил по осенним полям, целиком отдаваясь впечатлениям этой грустной поры. Тихий листопад поздней осени, бурые луга, густые утренние туманы, усталая природа, готовящаяся принять смерть, — все это навевало на него, как на всякого больного, тяжелые, безнадежные настроения, печальные мысли. Он жаждал умереть вместе с ней, уснуть, сгинуть навсегда и страдал от того, что молодость, противясь этому, с тихим упорством цеплялась за жизнь.

Ганс наблюдал, как деревья сперва желтели, покрывались багрянцем, облетали, как над лесом стелилась молочная пелена тумана, как в садах сразу после сбора последних плодов угасла жизнь и никто уже не любовался яркими, отцветающими астрами; на засыпанной листьями реке не удили рыбу, не купались, и на ее скованных заморозками берегах можно было встретить разве что двужильных дубильщиков. Вот уже несколько дней вниз по течению плыли бурые выжимки — на мельницах всюду, где только можно было поставить давилки, люди готовили сидр, и по городку тихо струились запахи фруктового сусла.

Сапожник Флайг тоже арендовал небольшую давилку на нижней мельнице и пригласил Ганса

помогать ему.

На мельничном дворе стояли малые и большие точила для выжимания сока, фуры, корзины и мешки, полные плодов, громоздились кадки, бочки, чаны, виднелись горы бурых выжимок, деревянные рычаги, тачки, пустые повозки. Точила визжали, стонали, скрипели, блеяли. Почти все они были выкрашены блестящей зеленой краской, «и эта зелень вместе с желто-бурыми выжимками, разноцветными корзинами, светло-зеленой рекой, босоногими ребятишками и ясным осенним солнышком создавала у каждого, наблюдавшего эту картину, впечатление радости жизни и изобилия. Аппетитный хруст раздавливаемых яблок невольно заставлял поскорее взять в руку сочный плод и отведать его. Из сопел толстой струей вытекало сладкое, так и смеявшееся на солнце красновато-желтое сусло. Нельзя было удержаться, чтобы не попросить стакан и поскорей не пригубить — и тут же на глаза набегают слезы и поток блаженной радости разливается по жилам. Сильный, радостный, изумительный запах фруктового сусла витает повсюду, как бы олицетворяя мысль о богатом урожае, спелости. Да, пожалуй, этот запах и есть самое прекрасное, что дарит нам год, и так хорошо вдохнуть

его перед близкой зимой и с благодарностью вспомнить о столь многих чудесных вещах: о теплом майском дождике, шумных летних ливнях, прохладной осенней росе, ласковом весеннем солнышке, ослепительном пекле в разгар лета, бело-розовом цвете фруктовых деревьев, красновато-коричневом отблеске спелых плодов перед сбором урожая — обо всем прекрасном и радостном, что принес с собою год.

То были светлые дни для каждого. Богачи и вельможи, если уж они снисходили до личного присутствия, взвешивали на ладони, краснощекие яблоки, пересчитывали свою дюжину, а то и больше мешков и из серебряных карманных стаканчиков дегустировали сусло, при этом непременно всем сообщая, что в их сидре не будет ни капли воды Бедняки, приехавшие на мельницу с одним мешком, пробовали сусло из простых стаканов или глиняных мисок и тут же подливали в него воды, однако радость к гордость их «была не меньшей. Кто по каким-либо причинам сам не готовил сидра, тот, переходя от пресса к прессу, останавливался у соседей и родственников, выпивал стакан, засовывал в карман яблоко и с видом знатока давал советы, доказывая тем самым, что и он, мол, не лыком

шит. Многочисленная детвора, дети богатых и бедных родителей, сновала под ногами с маленькими кружками и надкушенным яблоком в руках, непременно закусывая сусло хлебом, ибо ни на чем не основанная молва с давних пор гласит: если свежий сидр как следует закусывать хлебом, то потом и живот болеть не будет.

Сотни людей кричали, что-то взволнованно обсуждали, и вместе с детским визгом все это сливалось в веселый, радостный гомон.

— Ганнес, Ганнес, сюда, сюда иди! От стаканчика ведь не откажешься?

— Нет уж, благодарствую, у меня и так изжога.

— Сколько за центнер платил?

— Четыре марки. Зато первый сорт. На, попробуй! Порой случалась какая-нибудь пустяковая беда — рвался мешок, и яблоки рассыпались по земле.

— Свят-свят-свят! Яблоки мои! Да помогите вы Народ помогал собирать яблоки, а два-три сорванца спешили воспользоваться случаем и набить себе карманы.

— Куда, куда суешь, разбойник Жрать жри сколько влезет, а в карман — ни-ни! Я тебе покажу, охальник!

— Эй, соседушка? Не побрезгуйте, выпейте

глоток.

— Мед, чистый мед Сколько будете давить-то.

— Две бочки. Маловато, правда, но зато и крепкий будет!

— Слава богу не в страдную пору сидр готовим, а то ведь никого бы и не дозваться — все бы пьяные лежали.

Как всегда, присутствует и несколько ворчливых, всем недовольных стариков. Сами они давно уже не готовят сидра, однако знают все лучше других и то и дело пускаются в рассуждения о том, что, мол, в стародавние времена яблоки чуть не задаром покупали. И все-то куда дешевле было и куда лучше, сахар тогда в сусло не клали, и не помышлял об этом никто. Да разве яблони тогда так плодоносили?

— Вот урожаи-то были не чета нынешним! А у меня яблонька росла, так я с нее пять центнеров собирал.

Но как ни плохи нынешние времена, старички исправно прикладываются к стаканчикам, а тот, кто сохранил еще несколько зубов, шамкая, жует яблочко. Один из таких одолел подряд две груши бергамот, и теперь у него резь в животе.

— Ну, что я говорил, прежде-то я десяток таких съедал — рассуждает он, сопровождая непритвор-

ным вздохом свои воспоминания о тех временах, когда ему удавалось в один присест уплесть десяток груш, прежде чем у него начинались рези.

Среди всей этой сутолоки сапожник Флайг установил и свой пресс. Ему помогал старший ученик. Яблоки старый мастер выписывал из Бадена, и его сидр «славился в городке. Сам он так и сиял тихим весельем и никому не отказывал в «стаканчике». Однако еще веселей были его дети, носившиеся повсюду как угорелые, целиком отдавшись общему потоку радости. А уж больше всех веселился его ученик. Сын бедных крестьян из самых дальних лесов, он, вырвавшись наконец-то на волю, работал с упоением, да и сладкое сусло не вызывало у него рези. Пышущее здоровьем лицо крестьянского паренька ухмылялось, словно, маска сатира, а руки были чище, чем в воскресный день.

Ганс Гибенрат тихо и пугливо зашел на мельничный двор. Ему так не хотелось сюда идти! Но у первой же давильни ему поднесли кружку сусла — и не кто иной, как Лиза Нашольд. Он пригубил, и вместе со сладким, крепким соком на него нахлынули светлые, радужные воспоминания о том, как он! прежде проводил осень, а к ним прибавилось робкое желание немного повеселиться

вместе со всеми. Знакомые заговаривали с ним, подносили стаканчик-другой, и, когда он добрался до флайговской давильни, общая радость, да и напиток уже сделали свое дело — они преобразили его. Ой бойко поздоровался с, сапожником и даже отпустил несколько подобающих случаю шуток. Старый мастер, скрывая свое удивление, ласково приветствовал Ганса.

Примерно полчаса спустя к ним подошла девушка в синей юбке и, улыбнувшись Флайгу и его ученику, тут же принялась вместе с ними за работу.

— Это племянница моя из Гейльбронна, — сказал немного погодя сапожник. — Она у нас не к таким праздникам урожая привыкла, у них там вино рекой течет!

Ей было лет восемнадцать, может быть, даже девятнадцать. Подвижная и жизнерадостная, как все унтерландцы, она была, правда, полновата и невысокого роста, но все же ладная девушка Темные лучистые глаза, хорошенький, так и просящий поцелуя рот — все делало ее похожей на здоровую и любящую пошутить гейльброннку, а никак не на родственницу набожного мастера-сапожника. Уж она-то была вполне от мира сего, и глазки ее отнюдь не походили на те, что зачи-

тываются по ночам библией или госснеровской «Шкатулкой»[8].

Ганс сразу же принял озабоченный вид и ничего так страстно не желал, как скорейшего ухода Эммы. Однако она никуда не уходила, смеялась и болтала, находя бойкий ответ на каждую шутку. Ганс вовсе сконфузился и притих. Обращение с юными девушками, которым ему приходилось говорить «вы», вызывало в нем ужас, а эта была такая живая, разговорчивая, ни капельки не обращала внимания на его робость, на его присутствие, так что он, несколько обиженный, спрятал свои рожки, точно улитка на краю дороги, задетая колесом телеги. Он молчал, тщетно пытаясь делать вид, что страшно скучает, но вместо этого у него получалось такое выражение лица, будто только что кто-то умер.

Всем было недосуг обращать на это внимание, а о самой Эмме и говорить ничего. Говорили, что она две недели гостит у дядюшки и уже знает весь городок И здесь, на мельничном дворе, она уже всех успела обойти, и богачей и бедняков, пробовала свежий сидр, шутила, улыбалась, снова подходила к давильне дядюшки, делая

[8] Примечания: 8

Хрестоматия для домашнего чтения, составленная Госснером, проповедником-евангелистом (773–803).

вид, что старательно трудится, подхватывала ребятишек на руки, раздаривала яблоки — и в ее присутствии люди невольно улыбались словно чему-то радуясь. Каждого уличного мальчишку она окликала: «Яблочка хочешь? — потом брала большое краснощекое яблоко, прятала руки за спину и спрашивала. «В правой или левой? — но отгадать никому не удавалось, и только когда паренек уже начинал сердиться, она вручала ему яблоко — правда, маленькое и неказистое Скоро выяснилось, что и о Гансе она все знает. Она тут же спросила его не тот ли он парень, у которого всегда голова болит. Но, прежде чем он успел ответить, она уже опять оживленно болтала с соседкой.

Ганс уже собирался потихоньку улизнуть домой, но вдруг мастер Флайг вручил ему рычаг давильни, и сказал:

— Вот поработай-ка за меня. А Эмма уж подсобит тебе. Мне надо в мастерскую.

Сапожник ушел, поручив ученику отнести вместе с хозяйкой готовое сусло, а Ганс остался с Эммой у пресса. Стиснув зубы, он трудился как вол. Вдруг рычаг почему-то стало заедать, Ганс удивленно поднял голову, а Эмма звонко и весело рассмеялась. Оказывается, она шутки ради при-

валилась к рычагу и теперь, когда ее напарник вновь взялся за него, повторила свою шутку.

Ганс промолчал. Но покуда он орудовал рычагом, которому по другую сторону сопротивлялось тело девушки, на него нашло какое-то стыдливое оцепенение, и постепенно он совсем перестал крутить рычаг. Сладостный страх охватил его, и когда девушка, снова рассмеявшись, задорно взглянула на него, она вдруг показалась ему изменившейся, странно близкой и все же чужой. Тут и он рассмеялся, правда очень тихо, с застенчивой доверчивостью.

Рычагом теперь уже никто не работал. Эмма сказала:

— Нечего нам из себя-то соки выжимать! — и протянула ему стакан сидра, из которого только что отпила сама.

Этот глоток показался Гансу и слаще и крепче первого. Выпив, он жадно заглянул на дно стакана и только удивился, почему так часто забилось сердце и так трудно стало Дышать.

Потом они еще немного поработали, и Ганс, бессознательно становился так, чтобы юбка девушки задевала его, чтобы ее рука касалась его руки. И каждый раз при этом сердце у него замирало в трепетном блаженстве, сладкая истома

разливалась по всему телу, колени тихо дрожали и в голове поднимался предобморочный шум.

Что он говорил, он не помнил, однако он бойко отвечал ей, смеялся, когда смеялась она, несколько раз даже погрозил ей пальцем в ответ на ее шалости и дважды осушил стакан из ее рук. В то же самое время рой воспоминаний проносился у него в голове: служанки, которых он видел радом с парнями в подъездах, две-три фразы из учебника истории, поцелуй Германа Гейльнера, кое-что из школьнических бесед в темных углах о девчатах, и о том, «как бывает, когда у тебя есть милая». Ганс дышал, как лошадь, поднимающая в гору тяжело нагруженную телегу.

Все изменилось. Люди, сутолока вокруг — все словно поплыло в каком-то цветастом, смеющемся облаке. Отдельные голоса, брань, смех потонули в общем смутном гуле, река и мост отодвинулись далеко-далеко и были точно нарисованные.

Да и у Эммы был теперь совсем другой вид. Лица ее он больше не видел — только темные веселые глаза и пунцовые губы, а за ними белые, острые зубки; фигура обрела какие-то неясные очертания, он видел лишь части ее; то туфлю с черным чулком над ним, то выбившийся локон, то исче-

зающую в синем шарфике круглую загорелую шею, то тугие плечи и чуть ниже, вздымаемые дыханием волны, то прозрачное розовое ушко.

Еще немного спустя Эмма уронила стакан в чан и наклонилась, чтобы достать его. При этом коленка ее прижала его руку к краю чана. Ганс тоже нагнулся, но очень медленно, почти касаясь щекой ее волос. Они издавали слабый запах, а ниже, под вольно выбившимися завитушками, смугло и тепло поблескивала красивая шея, убегая под синий лиф; его туго застегнутые крючки позволили заглянуть Гансу и немного ниже.

Когда Эмма, вся зардевшись, снова выпрямилась и коленка ее прикоснулась к его руке, а волосы пробежали по его лицу, Ганс вдруг весь затрепетал. На мгновение его охватило чувство глубокой усталости, так что он, внезапно побледнев, прислонился к давилке. Сердце то сжималось, то отходило, руки ослабели и ныли в суставах. «С этой минуты он уже почти не говорил, избегая взгляда девушки. Но как только она отворачивалась, он впивался в нее взглядом, в котором неведомые ему до сих пор желания боролись с угрызениями совести. В тот час что-то оборвалось в нем, и душе его открылся новый, незнакомый и манящий мир, весь затянутый

синевой. Он не знал еще или только предчувствовал, что означало это волнение и сладкая мука, не знал, что сильнее в нем, — желание или боль.

Желание говорило о победе юных сил любви и первом предчувствии огромной неведомой жизни, а боль — о том, что рухнул утренний мир и что душа его покинула страну детства, куда уже нет возврата. Его утлую ладью, едва спасшуюся от кораблекрушения, подхватила новая буря и понесла навстречу бездонным глубинам, сокрушительным скалам, мимо которых даже наилучшим образом опекаемую молодежь не проведет ни один лоцман, — она сама должна находить спасительный фарватер.

К счастью, скоро вернулся ученик Флайга и сменил Ганса у давилки. Ганс не спешил уходить и все надеялся на прикосновение или ласковое слово Эммы. Но она уже снова болтала с соседями. Ну, а так как Ганс очень стеснялся ученика, он вскоре, не попрощавшись, ускользнул домой.

Странная перемена произошла кругом — все стало так волнующе красиво. Мимо пролетали стайки ожиревших от выжимок воробьев и, громко чирикая, поднимались в небо, а оно никогда еще не было таким прекрасно бездонным, не светилось такой обнадеживающей синевой;

зеркало реки никогда не было (таким чистым, весело бирюзовым, и плотина такой ослепительной белизны никогда еще так громко не шумела — все, казалось, ожидало большого праздника, все выглядело как на только что нарисованной картинке, которую сразу застеклили. Да и в груди Ганс ощущал сильное и страшное, но вместе с тем сладостное клокотание странно дерзких чувств, необычно ярких надежд и в то же время робкий страх сомнений, что все это лишь мерещится ему и никогда не станет явью. Усиливаясь, эти двойственные ощущения превратились в подспудно бурлящий родник, как будто в нем нарастало нечто чересчур сильное, стремящееся оторваться и обрести свободу — быть может, вылиться в рыдания, в песню, крик или безудержный смех. Только дома это волнение немного улеглось. Да там и впрямь все было как обычно.

— Ты где это припадал? — спросил господин Гибенрат.

— На мельнице, у Флайга.

— Сколько он надавил?

— Две бочки, кажется.

Ганс попросил разрешения пригласить детей сапожника, когда отец будет готовить сидр.

— Разумеется, — буркнул тот. — На будущей

неделе приступим, тогда и зови.

До ужина оставалось еще около часа. Гаке вышел в садик Как мало в нем осталось зелени — две сосны, и все! Он сломил ветку орешника, хлестнул ею два-три раза воздух, поковырял в сухой листве. Солнце уже спряталось за гору, и ее черный силуэт со стрельчатыми верхушками елей рассекал зеленовато-голубое, будто свежевымытое закатное небо. Длинная серая тучка с бурыми, будто тлеющими краями медленно и степенно, как возвращающийся в гавань корабль, плыла в прозрачном золотистом воздухе над долиной.

Погруженный в странные, незнакомые ему переживания, Ганс в этот яркий своей солнечной красочностью вечер бродил по саду. Порой он останавливался, закрывал глаза, пытаясь представить себе Эмму, как она стояла напротив него у точила, как протягивала стакан, из которого только что отпила сама, как наклонялась над чаном и, вся зардевшись, снова выпрямлялась. Он видел ее волосы, фигуру в плотно облегавшем синем платье, оттененную темными завитками смуглую шею — все это возбудило в нем трепетные желания, но лицо ее он никак не мог себе представить.

Солнце уже совсем зашло, но он не чувствовал

прохлады. Быстро сгущавшийся сумрак представлялся ему неким покрывалом, оберегающим всевозможные тайны, имени которых он не знал. Хоть он и догадывался, что влюбился в гейльброннскую девушку, однако кипение крови воспринимал лишь как непривычное раздражение, порождающее усталость.

За ужином его поразило сочетание обыденности обстановки с теми новыми чувствами, которые так внезапно изменили его самого. Отец, старая служанка, стол, посуда на нем, вся комната показались ему вдруг постаревшими, и он смотрел на них с удивлением, как-то отчужденно, будто только что вернулся из далекого путешествия. Еще совсем недавно, думая об облюбованном суке, он смотрел на тех же людей и те же предметы с грустным чувством превосходства человека, расстающегося со всем этим; теперь же он как бы снова возвращался и с великим удивлением все вновь обретал.

Когда отужинали и Ганс собирался встать из-за стола, отец, как обычно немногословный, неожиданно спросил:

— Ну как, Ганс, механиком хочешь стать или писарем?

— Почему это? — удивился Ганс.

— На будущей неделе ты мог бы начать у механика Шулера или через две недели в ратуше учеником. Подумай как следует, а завтра поговорим.

Ганс встал и покинул комнату. Неожиданный вопрос смутил его. Совсем будничная, деятельная, полная свежести жизнь, от которой он отвык за последние месяцы, предстала вдруг перед ним, то привлекая и обещая, то угрожая и требуя. По правде сказать, ему не хотелось учиться ни на механика, ни на писаря. Тяжелая физическая работа пугала его. Но тут он вспомнил о своем школьном товарище Августе — ведь тот теперь был учеником у механика, и о ним можно было посоветоваться.

Однако постепенно эти мысли как-то потускнели, поблекли, и все дело показалось ему не таким, уж срочным и важным… Нечто другое занимало и будоражило его, он беспокойно шагал по сеням, внезапно сорвал шапку с вешалки, открыл дверь и выбежал на улицу, Ему вдруг стало ясно, что он сегодня же должен еще раз увидеть Эмму.

Темнело. Из трактира доносились выкрики и сиплое пение. кое-где окна были уже освещены, то тут, то там зажигали огонь, и красноватый отблеск его пронизывал темноту. Громко пере-

говариваясь и смеясь, вниз по улице шла стайка девушек и вскоре растворилась в зыбком освещении, точно теплая волна юности и желания. Ганс долго смотрел им вслед, сердце у него, казалось, подкатывало к горлу. Из окна, завешенного гардиной, доносились звуки скрипки. У колодца какая-то женщина мыла салат. Два парня прохаживались по мосту со своими милыми. Один небрежно держал девушку за руку, размахивал ею и курил сигару. Вторая пара шла медленно, тесно прижавшись друг к другу; парень обнял девушку за талию, а она приникла плечом и головкой к его груди. Сотни раз Ганс видел подобные парочки и не обращал на них внимания. Теперь же все это приобрело в его глазах какой-то тайный смысл, какую-то трепетно-сладостную неясность. Он не спускал глаз с парочек, воображение его разыгралось, он был близок к пониманию. Потрясенный до глубины души, он чувствовал, что вот-вот перед ним откроется великая тайна, о которой он не знал, сладостна она или ужасна, но что-то и от того и от другого он уже трепетно переживал.

Перед домиком Флайга он остановился, но войти не посмел. Да и что ему было там делать, о чем говорить? Он, вспомнил, как мальчиком одиннадцати — двенадцати лет часто заходил

сюда. Мастер Флайг рассказывал ему библейские истории и всегда знал, что ответить на его жадные расспросы о преисподней, дьяволе и ангелах. Все эти воспоминания вызывали у него чувство неловкости, ощущение нечистой совести Он ведь и «сам не знал, что, собственно, собирается делать, не знал даже, чего желал, но ему казалось, что его ожидает нечто таинственное и запретное. При мысли о мастере Флайге у него кошки заскребли на душе. Как же так, он стоит тут, перед его дверью, и не смеет войти! Если бы сапожник сейчас вышел, он, наверное, даже не побранил бы его, а просто посмеялся бы над ним, а это-то и было самое страшное.

Украдкой Ганс обошел дом и остановился у садовой калитки — отсюда он мог заглянуть в освещенные комнаты. Самого хозяина не было видно. Хозяйка что-то шила или вязала, старший мальчик еще не спал, он сидел, согнувшись, над книгой за столом. Эмма входила и выходила — должно быть, прибиралась. Кругом стояла такая тишина, что слышен был каждый шаг на улице, а позади сада — вкрадчивое урчание реки. Темнота быстро густела, становилось прохладно.

Неподалеку от окон жилых комнат темнело оконце, выходившее из сеней. Прошло уже по-

рядочно времени, как вдруг Ганс заметил, что в оконце кто-то стоит и, высунувшись, всматривается в темноту. Ганс узнал Эмму, и от трепетного ожидания у него замерло сердце. А она долго и спокойно глядела в его сторону. Он так и не понял, видит ли она его, узнала или нет. Он стоял не шевелясь и смотрел на нее, мучительно на что-то надеясь и в то же время страшась, что она его узнает.

Фигура в оконце внезапно исчезла и сразу же звякнула щеколда — Эмма вышла из дому. Испугавшись, Ганс хотел обратиться в бегство, но вместо этого прислонился к штакетнику и все смотрел, как девушка, шагая по садовой тропинке, медленно приближалась к нему в темноте. Больше всего ему хотелось броситься наутек, но что-то более сильное приковывало его к месту.

И вот она остановилась прямо перед ним, не далее полушага, их разделяет только низенький заборчик. Она внимательно и как-то странно смотрит на него. Оба долго не произносят ни слова. Потом она тихо спрашивает:

— Тебе что?

— Ничего, — отвечает он, и ему кажется, что его погладила нежная рука, — ведь она сказала ему «ты».

Эмма протягивает руку через заборчик, и Ганс робко берет ее, нежно пожимает и тут же отдает себе отчет, что она не отдернула руки; тогда! осмелев, он бережно и ласково гладит теплые девичьи пальцы Она все еще не отнимает руки, и он прикасается к ней щекой. Волна жарких желаний и блаженной слабости захлестывает его, воздух кажется необыкновенно теплым и влажным, он не видит больше ни сада, ни улицы, а только близко-близко ее светлое лицо и копну темных волос. И, словно доносясь из далекой, ночи, звучит ее тихий голос:

— (А ты разве не хочешь меня поцеловать?

Светлое лицо приближается, тяжесть ее тела слегка наклонила штакетник, распущенные, издающие легкий аромат волосы коснулись лба Ганса, и близко-близко перед собой он видит ее глаза, прикрытые светлыми века ми и темными ресницами. Страшный озноб сотрясает все его тело, когда он робкими губами касается губ девушки. Он тут же, дрожа, отпрянул, но она уже обвила его голову руками, не отпуская его губ, прижалась к нему лицом Он чувствует, как горят ее губы, жадно всасываясь прижимаются, как бы желая высосать всю его жизнь. Снова на него нападает ужасная слабость, и, прежде чем чужие

губы отпускают его, трепетное желание обращается в смертельную усталость и муку, и, когда Эмма освобождает его, Ганс, шатаясь, судорожно вцепляется пальцами в забор.

— Приходи завтра вечерком опять, — шепнула Эмма и быстро зашагала к дому.

Не прошло и пяти минут, как она ушла, а Гансу почудилось, что с тех пор прошла целая вечность. Все еще держась за планки забора, он опустошенным взором смотрел ей вслед и чувствовал себя слишком слабым, чтобы сделать хоть один шаг. Словно во сне, он слышал, как стучит кровь в висках и неравномерными, причиняющими боль волнами то вся хлынет к сердцу, то отхлынет от него.

Теперь он увидел, как в комнате открылась дверь и вошел хозяин, очевидно задержавшийся в мастерской Страх быть замеченным охватил юношу и заставил его уйти Он шел медленно, неверными шагами, будто в легком опьянении, и его все время. Не покидало чувство, что вот-вот у него подогнутся колени. Мимо, точно выцветшие декорации, проплывали темные улицы с сонными домами и мутно-красноватыми глазницами окон, мост, река, дворы и палисадники. Фонтан на улице Дубильщиков плескался Необычно звон-

ко. Словно во сне, Ганс открыл ворота, прошел темными сенями, поднялся по лестнице, отпер и закрыл за собой дверь, потом еще одну, сел на первый попавшийся стул и лишь много времени спустя пробудился, почувствовав, что он уже дома и в своей каморке. Прошло еще порядочное время, прежде чем он решил раздеться. Рассеянно он скинул с себя одежду, да так и остался сидеть у окна, покуда наконец холод осенней ночи не загнал, его в постель.

Он думал, что тут же заснет, однако стоило ему прилечь и немного согреться, как снова застучало сердце и мощными волнами заклокотала кровь. Только он закрывал глаза, как чувствовал, что губы Эммы прижимаются к его рту, высасывают из него душу, наполняют мучительным жаром.

Не скоро удалось Гансу заснуть, потом одно сновидение с лихорадочной быстротой стало сменяться другим. Вот он стоит в кромешной тьме, ему страшно, он ощупью находит руку Эммы, она обнимает его, и вместе, медленно падая, они тонут в теплой бездонной пучине. Внезапно перед ним вырастает фигура дядюшки Флайга, и он спрашивает, почему Ганс не заходит. Гансу делается смешно, и он тут же замечает, что это вовсе не сапожник, а Герман Гейльнер, который

сидит с ним рядом в Маульброннской молельне на подоконнике и так и сыплет шутками. Внезапно все исчезает, опять он стоит подле давильни, Эмма напирает на рычаг, а он со всей силой противится. Она льнет к нему, ищет его губы, кругом девается тихо и очень темно, и снова он тонет в теплом, черном потоке и теряет сознание. Но тут же слышит, как эфор произносит речь, и не знает, к нему ли она обращена.

Ганс проспал до позднего утра. День выдался яркий, золотистый. Долго он ходил по саду, все стараясь прийти в себя, обрести ясность, но так и не мог выбраться из липкого сонного тумана. Он видел весело смеявшиеся на солнышке, точно это было в августе, фиолетовые астры — последние цветы в саду, видел теплый и милый свет, струившийся, как будто б ранней весной, над засохшими кустарниками и голыми ветвями деревьев. Все это он видел только глазами, но не чувствовал, все это не касалось его. Внезапно на него нахлынуло необычайно яркое и сильное воспоминание из той поры. когда здесь в садике еще прыгали его крольчата и стучали колесики игрушечной мельницы. Это было три года тому назад, в сентябре,

накануне дня Седана[9]. Вечером зашел Август И принес зеленый плющ. Вместе с товарищем они до блеска натерли древка флагов и прикрепили плющ к их золотым наконечникам, все время переговариваясь и радуясь предстоящему празднику. Больше ничего и не было, ничего не произошло, но оба они так полны были радости, предвкушения праздничного дня, флаги так сверкали на солнце Анна испекла пирог со сливами, а ночью на высокой скале Должны были зажечь Седанов огонь.

Ганс не знал? почему сегодня он вспомнил как раз об этом вечере, почему это воспоминание было таким сильным и острым и почему оно вдруг навеяло на него такую грусть, сделало таким несчастным. Нет, не знал он, что в облачении этого воспоминания предстало перед ним его детство, его такие светлые, смеющиеся мальчишеские годы, дабы сказать ему последнее прости, оставив в душе жало миновавшего счастья, которое не возвращается больше, никогда. Он чувствовал только, что это воспоминание никак не вязалось с мыслью об Эмме, о вчерашнем вечере и что в нем выросло нечто несовмести-

[9] Примечания: 9

Праздник в честь победы немецких армий «под Седаном над войсками Наполеона во время франкопрусской войны 870–875 годов.

мое с тогдашним ощущением счастья. Ему все чудилось, будто он видит сверкающие золотые наконечники на древках флагов, слышит смех своего друга Августа, чувствует запах свежего пирога, и все это было так отрадно, дарило столько счастья, но теперь отодвинулось так далеко, стало таким чужим, что он вдруг прислонился к корявому стволу сосны и зарыдал, На минуту это облегчило и утешило его.

Около полудня он забежал к Августу. Тот вырос, сильно раздался в плечах, он был теперь старшим учеником у механика. Ему-то Ганс и поведал свои сомнения.

— Видишь ли, это дело не простое — заявил Август, состроив физиономию бывалого человека. — Уж больно у тебя: кишка тонка! В первый-то год тебе, стало быть, придется молотом с кузнецом работать, а он не ложка, этот молот! Натаскаешься за день железных болванок, а потом еще прибирай после шабаша. А чтобы пилить, тоже надо силенку иметь. Поначалу, пока не наловчишься, тебе только старые напильники будут давать, пилить ими одно горе — они гладкие, как задница у старой обезьяны.

Ганс совсем приутих.

— Что же, мне, значит, и браться не стоит? —

робко спросил он.

— Это почему ж? Нет, этого я не сказал! Ты ж не баба! Конечно, это тебе не с девками плясать, что верно, то верно. И вообще-то наше дело хорошее, только голову на плечах надо иметь, а то тебя так на подхвате и оставят. Вот погляди!

И Август принес несколько деталей очень тонкой работы, части машин из чистой стали.

— Тут и на полмиллиметра нельзя ошибиться. И все ручная работа, даже болты, примечаешь? Осталось еще отполировать да закалить, и тогда — готово!

— Правда красиво. Мне бы только знать... Август рассмеялся.

Боишься? Ученику и впрямь достается на орехи, тут уж ничего не поделаешь. Но я ж тебе подсоблю! Вот начнешь в будущую пятницу, а у меня как раз два года исполнится, как я в ученики поступил, и в субботу первая получка. В воскресенье ее отметим все сообща — пивка там, пирог, ты сразу и увидишь, как мы тут живем-можем. Рот разинешь! Мы ж с тобой сколько лет уже друзья-товарищи.

За обедом Ганс сообщил отцу, что он не прочь стать механиком, и спросил, можно ли ему начать уже через неделю.

— Вот и хорошо, — ответил папаша и сразу же после обеда вместе с Гансом отправился в мастерскую к Шулеру и договорился обо всем.

Однако, когда наступили сумерки, Ганс все это забыл и думал только о том, что вечером его ждет Эмма. У него даже дух захватывало, казалось, будто время бежит то слишком быстро, то слишком медленно, и он несся на встречу свиданию, точно лодка к водопаду. За ужином ему кусок в горло не шел, и, проглотив полкружки молока, он быстро собрался «и вышел.

Все было как накануне — темные, сонные улицы, мертвые глазницы окон, тусклый свет фонарей и медленно прохаживающиеся парочки.

Но у ограды флайговского домика на него вдруг на пал такой страх, что он вздрагивал при малейшем шорохе. Он стоял и прислушивался, словно тать в ночи. Не прошло и минуты, как Эмма уже была подле него, взъерошила ему волосы, потом отперла калитку. Ганс боязливо вошел в сад. Девушка потянула его за собой, и они, тихо ступая по дорожке, обсаженной кустами, прошли через задние ворота и очутились в темных сенях.

Здесь они сели на верхней ступеньке лестницы, которая вела в подвал, и прошло порядочно времени, прежде чем они стали смутно различать

друг друга в кромешной тьме. Эмма, не выказывая никакого смущения, шепотом принялась, болтать. Она знала толк в любви, да рила уже не один поцелуй, и застенчивый, ласковый мальчик пришелся ей по вкусу. Сжав обеими ладонями голову Ганса, она поцеловала его сперва в лоб, в глаза, в щёки, потом, страстно прильнула к губам и впилась в них, как накануне. У Ганса закружилась голова, он весь обмяк и бессильно привалился к Эмме. Она только тихо хихикнула и, продолжая что-то шептать, ущипнула его за ухо. А он слушал и не понимал, что она шепчет. «Эмма провела рукой по его руке, погладила шею, взъерошила волосы, прижалась щекой к его лицу и склонила голову к нему на плечо. Притихший, он молчал, позволяя делать с собой все, что ей и хотелось. Робкое счастливое ожидание охватило его, а вместе и сладостная жуть, от которой он дрожал словно в лихорадке.

— Да что ж ты за кавалер такой? И ничего-то ты не смеешь! — Она рассмеялась, взяла его руку, погладила ею свою шею, волосы, положила себе на грудь и крепко прижала своей рукой Он ощутил мягкую округлость, закрыл глаза и почувствовал, что падает, падает в бездонную глубину.

— Не надо, не надо больше — беспомощно за-

щищался он, когда она снова принималась его целовать. Эмма опять рассмеялась, привлекла его к себе и, обвив руками, прильнула к нему всем телом. Он совсем потерял голову и уже ничего не в силах был произнести.

— Что ж ты ничего не говоришь? Разве ты не любишь меня? — вдруг спросила она.

Ганс хотел ответить, но только кивнул и продолжал кивать еще некоторое время.

А она опять поймала его руку и, как бы шутя, просунула себе под лиф. Почувствовав так близко биение ее сердца, жаркое дыхание чужой жизни, он чуть не задохнулся, сердце его остановилось, на мгновение ему показалось, что он умирает.

Ганс высвободил руку и простонал:

— Мне надо домой!

Пытаясь встать, он пошатнулся и едва не упал с Лестницы.

— Что с тобой? — удивилась Эмма.

— Не знаю. Устал я что-то.

Он уже не замечал, что по дороге через сад Эмма все время, поддерживая его, прижималась к нему, не слышал, как, пожелав покойной ночи, она заперла калитку.

Он не помнил, как добрался до дому, то ли буря влекла его, то ли мягко покачивал могучий

поток.

Справа и слева он видел серые дома, вершины гор над ними, острые пики елей, черноту ночи и огромные, тихо мерцавшие звезды. Он чувствовал, как ветерок овевает его, слышал, как журчит река под мостом, видел, как отражаются в воде сады, крыши домов, темнота ночи, свет фонарей и звезды.

Он так устал, что на полпути остановился на мосту отдохнуть. Присев на парапет, он слушал, как журчит река, обтекая быки, как она шумит у ближней плотины, как гудит мельничное колесо. Руки у него были холодные, голова кружилась, он чувствовал как в горле пульсирует кровь, то часто, то с большими перебоями, то затуманит глаза, то вдруг вся отхлынет к сердцу.

Кое-как он все же добрел до дому, ощупью пробрался к себе в каморку, лег в постель и тут же уснул. Во сне ему все чудилось, будто он падает в какую-то бездонную пропасть. Около полуночи он проснулся, совсем измученный, и до утра пролежал в полудреме, охваченный горячим томлением, тщетно борясь с неведомыми, швырявшими его из стороны в сторону силами, и только на заре вся мука его, вся боль вылилась в рыдание, и он вновь заснул на мокрой от слез

подушке.

Глава седьмая

Исполненный достоинства, шумно и не слишком ловко господин Гибенрат хлопотал у давилки. Ганс помогал ему. Двое ребятишек мастера Флайга, зажав в кулаке по огромному ломтю черного хлеба и захватив с собой маленький стаканчик на двоих, тоже прибежали помогать и сразу набросились на кучу яблок. Но Эммы с ними не было.

Только когда отец, прихватив с собой чан, отлучился на полчаса, Ганс осмелился спросить о ней.

— А где Эмма? Не захотела прийти?

Ответа пришлось подождать, пока малыши не прикончили очередное яблоко.

— А она уехала! — разом ответили оба и закивали головками.

— Уехала? Куда уехала?

— Домой.

— Совсем уехала? Села на поезд и уехала? Ребята снова дружно закивали.

— Когда?

— Сегодня, утром.

Малыши снова принялись за, яблоки. Ганс вра-

щал рычаг давилки, бессмысленно глядя в чан с суслом, и лишь постепенно начинал понимать, в чем дело.

Вернулся отец, работа снова закипела. Ребята; набаловавшись вволю, поблагодарили и убежали. Когда завечерело, отец, с сыном отправились домой.

После ужина Ганс долго сиделку себя в каморке. Пробило десять, затем одиннадцать, а он все не зажигал лампы Потом он уснул и спал долго и крепко.

Проснулся он позднее обычного с неясным чувством какого-то несчастья или утраты. Только открыв глаза, он вспомнил об Эмме. Уехала, не попрощавшись, даже не передала ему привет! Конечно, она и накануне, когда он был у нее, знала уже, что уедет. Ему вспомнился ее смех, ее поцелуи, ее щедрое тело, ее превосходство. Нет, она просто смеялась над ним.

Гнев, обида и его не нашедшая утоления жажда любви слились в какую-то мрачную муку, которая гнала его из дому в сад, из сада на улицу, в лес и снова домой.

Так Ганс познал, быть может чересчур рано, и свою долю в тайнах: любви, и как мало было в ней для него сладости, как много горечи! Потянулись

дни, полные бесплодных жалоб, тоскливо-томительных воспоминаний, безутешных дум; и ночи, когда сердцебиение и невыносимая тяжесть в груди не давали ему сомкнуть глаз (или порождали кошмарные сны; сны, в которых неведомое ему дотоле кипение крови обращалось в чудовищные, пугающие его картины, в смертельные объятия чьих-то рук, в фантастических Зверей с горящими глазами, головокружительные пропасти, в чьи-то огромные, пламенеющие очи. А стоило ему проснуться, и чувство одиночества охватывало его, он лежал, объятый холодом осенней ночи, исходил тоской по своей милой и со стоном зарывался в мокрые от слез подушки.

Приближалась пятница, день, когда он впервые должен был отправиться в мастерскую. Отец купил ему рабочий костюм из синего полотна и такую же синюю шапку. Ганс все это примерил и показался себе довольно жалким в облачении слесаря. Ему делалось тошно на душе, когда, проходя по городу, он видел здание прогимназии, дом директора или учителя арифметики, мастерскую сапожника Фланга или домик пастора Столько мук стараний, пота, отказ от маленьких радостей, столько честолюбия и гордых мечтаний — и все, все напрасно, все это только для того,

чтобы теперь, далеко отстав от сверстников, всем на потеху сделаться последним из последних учеников у ремесленника!

Что бы сказал Герман Гейльнер?

И все же Ганс постепенно примирился с этой блузой слесаря и даже радовался приближению пятницы, когда он обновит ее. В мастерской ведь ему предстояло нечто новое, неизведанное.

Но подобные мысли были лишь сполохом, на мгновение озарявшим мрачные тучи. Эмме он так и не мог простить: кровь его по-прежнему кипела, он уже не мог забыть сладостного томления пережитых дней. Все в нем кричало, требовало большего, требовало утоления. А время тянулось глухо, мучительно медленно.

Осень выдалась прекрасней, чем когда-либо, вся залитая ласковым солнцем, с серебристыми утренними зорями, ослепительно смеющимися днями и ясными вечерами. Далекие горы приняли темно-синюю бархатистую окраску, каштаны отливали золотом, а с оград и штакетников свешивались пурпурные листья дикого винограда.

Ганс нигде не находил покоя, хотя непрестанно пытался уйти от себя самого. Целыми днями, он бродил по глухим уголкам и полям, сторонясь людей, думая, что все замечают его любовные

муки. Но в сумерки он всходил на главную улицу, впивался глазами в каждую проходящую служанку, с нечистой совестью шел по пятам какой-нибудь парочки. Ему казалось, что вместе с Эммой к нему подступило так близко все самое желанное, само волшебство жизни, и с нею же так коварно ускользнуло от него. О муках и страданиях, пережитых в те дни, он уже не помнил. Будь Эмма сейчас снова рядом, он бы не сробел, а вырвал бы все тайны, проник бы в самую глубину волшебного сада любви, врата которого захлопнулись перед самым его носом. Воображение его запуталось в этих душных и опасных дебрях, блуждало в них, мучительно истязая себя, и знать не хотело, что за пределами этого заколдованного круга раскинулись такие приветливые, светлые и радостные просторы.

В конце концов он даже обрадовался, когда настала пятница, которую он с таким страхом ожидал. Рано утром он нарядился в свой новенький синий костюм, надел шапку и, немного робея, зашагал вниз ПО улице Дубильщиков к дому Шулера. Знакомые удивленно оборачивались, а один даже спросил: «Никак ты в слесари записался?»

В мастерской уже кипела работа. Сам хозя-

ин держал на наковальне кусок раскаленного докрасна железа, подмастерье ударял по нему тяжелым молотом, а мастер более точными и ловкими ударами придавал болванке нужную форму, время от времени поворачивая ее, и отбивал такт легким молоточком. Звонкие удары далеко разносились через открытые двери по утренней улице.

Около длинного, почерневшего от масла и опилок верстака стоял старший подмастерье, а рядом с ним Август. Оба были заняты работой у тисков. Под потолком шуршали быстро бегущие ремни, приводя в движение токарные и сверлильные станки, точило, горн, — здесь работали на воде. Август кивнул своему другу и знаком приказал подождать у дверей, пока мастер не освободится.

Ганс пугливо посматривал на огонь в горниле, на пустующие токарные станки, шлепающие приводные ремни, шкивы. Закончив ковку, мастер подошел и протянул Гансу свою огромную, крепкую и теплую руку.

— Шапчонку вот тут повесь, — указал он на свободный гвоздь в стене. — Поди сюда! Вот, стало быть, твои тиски, твое, значит, рабочее место.

С этими словами он подвел его к последним в ряду тискам и стал показывать, как обращаться

с ними, за метив прежде всего, что верстак и инструмент надо держать в чистоте и порядке.

— Твой батюшка мне уже говорил, что ты не из силачей, да и по тебе это видать. К наковальне мы тебя сразу не поставим, подрасти еще малость! — Достав из-под верстака чугунную деталь, он добавил: — С этой зубчатки и начинай. Она только что из литейной, на ней всякие там бугорки, заусенцы — их надобно содрать, а то они потом тонкий инструмент могут испортить.

Он зажал зубчатку в тиски, взял старый напильник и показал, как ее опиливать.

— Ну, а теперь валяй! Но чтоб другой пилы не брать, понял? До обеда тебе работенки хватит, вот тогда и покажешь мне. За верстаком ни о чем, помимо работы, не думать! Ученику это не положено.

Ганс принялся за работу.

— Эээ! Постой-ка! — вдруг крикнул мастер. — Левую вот как на пилу клади! Иль ты левша?

— Нет.

— Ну ладно! Понемногу наловчишься, — и мастер отошел к своим тискам — первым от дверей, а Ганс подумал, как, бы это ему поскорей наловчиться.

Проведя два раза напильником, он удивился,

что чугун такой мягкий и наросты на нем так легко спиливаются. Но вскоре заметил, что это только пористая корка, оставшаяся после отливки, легко отслаивается, а под ней «проступает уже твердый чугун, который ему и надо было обдирать. Собравшись с духом, Ганс продолжал старательно трудиться. Давно уже, со времени своих ребяческих поделок, он не испытывал этого удовольствия, когда из-под твоих рук выходит что-то, зримое и нужное.

— Легче, легче! — крикнул ему мастер со своего места. — Когда пилишь, надобно такт держать — раз-два, раз-два. И нажимай как следует, а то пилу попортишь.

Но тут старший подмастерье подошел к своему токарному станку; Ганс не выдержал и покосился в его сторону. Подмастерье закрепил стальную отливку, перевел ремни, и вот уже, сверкая, завертелась заготовка, а подмастерье стал снимать с нее тонкую, как волосом, блестящую стружку.

Повсюду лежали инструменты, обрезки железа, ста ли, меди, необработанные детали, блестящие, колесики, зубила и сверла, резцы самых разнообразных форм, рядом с горном висели молоты, осадные молотки, посадки наковален, щипцы и паяльники, а вдоль стены целые серии напиль-

ников и фрез. На полках лежала пропитавшаяся маслом ветошь, веники, бархатные напильники, ножовки; стояли масленки, бутыли с кислотой, ящички с гвоздями и шурупами. То и дело кто-нибудь, подходил к точилу, чтобы заточить свой, инструмент.

Не без гордости Ганс заметил, что руки его стали совсем верные. Хорошо бы, подумал он, чтобы и костюм поскорей приобрел несколько поношенный вид, а то слишком он новый и синий, очень уж выделяется среди почерневших и заплатанных спецовок остальных: подмастерьев. Неловко как-то!

Ближе к полудню, в мастерскую стал захаживать на род. Рабочие из соседней трикотажной фабрики опросили обточить какую-нибудь деталь или отремонтировать ее. Какой-то крестьянин спросил, не готов ли его гладильный барабан, и тут же стал ругаться на част свет стоит, узнав, что его еще не починили. Потом явился важный хозяин фабрики, с которым мастер удалялся для переговоров в соседнюю комнату.

И здесь же рядом продолжали трудиться подмастерья, ученики, равномерно гудели шкивы, и Ганс впервые в своей жизни понял, что такое ритм труда, который, по крайней мере для нович-

ков, имеет в себе нечто захватывающее, приятно волнующее, он почувствовал, как и его маленькая личность и его маленькая жизнь включилась в этот великий ритм.

В девять часов был перерыв на четверть часа, и всем выдали по куску хлеба и стакану сидра. Только теперь Август подошел к новичку и поздоровался. Он ободрил его и снова завел разговор о предстоящем воскресенье, ведь он вместе с товарищами собирался прокутить свой первый недельный заработок. Ганс спросил о назначении колесика, которое ему велели опиливать, и узнал, что это часть механизма башенных часов. Август уже собирался показать ему, как оно должно потом вертеться и работать, но тут старший подмастерье снова взялся за пилу, и все быстро разошлись по своим местам.

Между десятью и одиннадцатью Ганс начал уставать. Ныли коленки и правая рука. Он переступал с ноги на ногу, потихоньку вытягивал то одну, то другую руку, но это мало помогало. Тогда он на минуту отложил напильник и оперся на тиски. Никто не обращал на него внимания, и; покуда он, слушая шуршание ремней, отдыхал, на него нашло нечто вроде легкого обморока, на минутку он даже прикрыл глаза.

— Ты что это? Никак устал? — вдруг раздался позади голос мастера.

— Да, немного, — признался Ганс. В ответ раздался дружный хохот подмастерьев.

— Это пройдет, — спокойно сказал мастер. — Пойдем-ка! со мной, Доглядишь, как паять надо.

Ганс с любопытством смотрел. Сперва нагрели паяльник, потом смочили место пайки кислотой, и с накаленного паяльника, тихо шипя, закапал белый металл.

— Возьми тряпку и оботри вещицу как следует. Кислота — она разъедает, ни капли нельзя оставлять на металле.

Затем Ганс снова встал к тискам и долго скреб напильником, зубчатку. Ломило плечо, а рука, которой он прижимал напильник, побагровела.

В обед, когда старший подмастерье, отложив напильник, пошел мыть руки, Ганс отнес свою работу мастеру. Тот, мельком взглянув на колесико, сказал:

— Ладно, так и оставь. Возле твоего места под верстаком лежит еще одно такое же, вот после обеда и принимайся за него.

Ганс тоже помыл руки и отправился домой. За час ему надо было успеть пообедать и вернуться.

На улице за ним увязались два прежних его

одноклассника, теперь они были на побегушках у купца, — мальчишки долго потешались над ним.

— Слесарь-семинарист! — крикнул один ему вдогонку.

Ганс ускорил шаги. Он так и не мог решить, доволен ли он своим новым положением. В мастерской ему понравилось, вот только устал он очень, безбожно устал!

Уже в сенях, радуясь предстоящему обеду и возможности посидеть, он вдруг вспомнил Эмму. За все время до полудня он ни разу не подумал о ней. Поднявшись на цыпочках к себе в каморку, он бросился на кровать и мучительно застонал. Ему так хотелось выплакаться, однако глаза оставались сухи, и он понял, что его снова захватила, эта испепеляющая тоска. В голове шумело, она точно раскалывалась, от сдавленных рыданий болело горло.

Обед превратился в сплошное мученье. Ганс через силу отвечал на вопросы отца, терпеливо выслушивал его шуточки — папаша Гибенрат был в превосходном расположении духа». Едва дождавшись конца обеда, Ганс бросился в сад. Здесь он, греясь на солнышке, даже задремал на четверть часа, а там снова надо было бежать в

мастерскую.

Еще до полудня у него на ладонях образовались красные бугорки, теперь они разболелись и к вечеру так набухли, что любое прикосновение вызывало нестерпимую боль. А ведь ему еще предстояла уборка мастерской.

В субботу дела обернулись совсем плохо. Руки у Ганса прямо-таки горели, мозоли превратились в большие пузыри. К тому же у мастера было дурное настроение, и он ругался по малейшему поводу. Август, как умел, утешал товарища: пузыри — они, мол, через два-три дня пройдут, мозоли затвердеют, и все пойдет как по маслу. Однако Ганс совсем поник и с чувством полной безнадежности царапал свое колесико.

Вечером за уборкой Август шепотом сообщил Гансу, что завтра он с несколькими приятелями отправляется в Билах, там, дескать, дым пойдет коромыслом, и без Ганса им никак не обойтись. Пусть он в два часа зайдет к нему. Ганс принял приглашение, хотя с большим удовольствием провалялся бы все воскресенье дома: он так устал, чувствовал себя таким несчастным! Старая Анна дала ему мазь для израненных рук, в восемь он уже лег спать и проспал чуть не до полудня. Пришлось спешно приводить себя в порядок, чтобы

вместе с отцом поспеть в церковь.

За обеденным столом Ганс завел речь об Августе и спросил, нельзя ли ему сегодня погулять вместе с ним за городом. Отец не возражал и даже выдал ему пятьдесят пфеннигов, но потребовал, чтобы Ганс вернулся к ужину.

Выйдя на залитую солнцем улицу, Ганс впервые за многие месяцы обрадовался воскресному празднику. После дней, полных труда, когда у тебя черные руки и ты еле держишься на ногах от усталости, улица кажется особенно праздничной, солнце ласковей и все кругом — веселей и прекрасней. Теперь-то он понимал мясников и дубильщиков, пекарей и кузнецов, которые по воскресеньям сидели перед своими домиками, грелись на солнышке и так горделиво, прямо-таки по-царски, поглядывали вокруг, — и уже не считал их жалкими невеждами. Совсем иными глазами он смотрел и на рабочих, подмастерьев «учеников-ремесленников, прогуливавшихся рядами по мостовой или направлявшихся в трактир: все в белых воротничках, в вычищенных и выглаженных воскресных костюмах, шапки немного набекрень. Чаще всего, хоть и не всегда, ремесленники держались группами: столяры со столярами, каменщики с каменщиками. Вместе

легче было блюсти честь цеха, и самыми уважаемыми считались, слесари, а еще выше их стояли механики. И хоть многое в повадках мастеровых казалось Гансу наивным, а порой и смешным, во всем этом чувствовалось что-то располагающее, — то была красота и гордость ремесла, на которой издревле зиждется радость труда, накладывающая и на последнего ученика портного свою печать. Вот они стоят перед мастерской Шулера — молодые механики — спокойные, гордые, порой кивают прохожим, переговариваются, и сразу видно, что это надежное и прочное сообщество, не нуждающееся в чужаках, даже на своих воскресных пирушках.

Ганс тоже это почувствовал и радовался, что он теперь свой среди своих. И все же он немного побаивался предстоящего увеселения, ибо знал, что механики привыкли веселиться вволю, не отказывая себе ни в чем. Быть может, дело дойдет даже до танцев. А танцевать Ганс не умел. Впрочем, во всем остальном он надеялся не ударить лицом В грязь, да и на худой конец легкое похмелье на следующий день тоже не велика беда! Много пива он не привык пить, а что касается курения, то с грехом пополам он уж выкурит одну сигару — не опозорится!

Август явно был рад приходу Ганса и встретил его даже несколько торжественно. Он тут же сообщил, что старший подмастерье отказался пойти с ними, но вместо него придет товарищ из другой мастерской и их все же будет четверо, а этого достаточно, чтобы перевернуть целую деревню вверх дном. Пиво каждый может пить сколько влезет — он платит за всех. Август угостил Ганса сигарой, и вскоре все четверо отправились в путь По городку они шли медленно, гордо поглядывая по сторонам, и лишь пройдя площадь, где росло много Лип, прибавили шагу, чтобы не опоздать в Билах.

Через оголенные ветви кленов и акаций грело Ласковое октябрьское солнце; на светло-голубом небе не было ни облачка, и серебристая река отливала то синевой, то золотом. Это был один из тех тихих, ясных и приветливых осенних дней, когда отрадные, улыбчатые воспоминания о красоте минувшего лета как бы наполняют собой воздух, дети забывают, какое теперь время года, и просят разрешения пойти за цветами, а старики и старушки, что сидят у окна или на скамеечке перед домом, чувствуют, что не только ласковые воспоминания уходящего года, но и всей уходящей жизни точно оживают перед их

затуманенным взором и плывут в прозрачной синеве. Ну, а молодежь радуется жизни и отмечает славный денек, смотря по способностям и душевным качествам, — кто — воздавая должное вину, кто пением и пляской, а кто и сражениями на кулачках. В каждом доме испечен сладкий пирог, в подвале бродит молодое вино или сидр, а перед трактирами и на площадях под старыми липами скрипка или гармошка славит последние теплые дни, призывая к танцам, песням и любовным играм.

Юные друзья приятели быстро продвигались вперед С беззаботным видом Ганс попыхивал сигарой и сам дивился, что она доставляет ему даже некоторое удовольствие. Подмастерье рассказывал о своих странствованиях, и никто не ставил ему в укор, что он безбожно расхвастался, ибо и эта было в порядке вещей. Ведь даже самый скромный подмастерье, уверившись, что его никто не поймает на слове, пускается в бесшабашные россказни о своих «странствиях, словно он и впрямь какой-то легендарный герой. Ибо изумительная поэзия жизни странствующего подмастерья — достояние всего народа, и в устах, любого из них все вновь и вновь рождаются разукрашенные свежими арабесками традиционные

приключения, а в каждом таком молодце-удальце, стоит ему приняться за[10].

— Во Франкфурте, стало быть, куда я забрел, вот, дьявол ее возьми, где жизнь-то была! Не рассказывал я вам «разве, как богатый купец — старая плешивая обезьяна — хотел Жениться на дочери моего мастера? Но куда там! Я ей милее был, а его она с носом оставила. Четыре месяца мы с ней гуляли, и, не повздорь я со стариком, я бы сейчас у них в зятьях ходил!

И далее следовал рассказ о том, как мастер — сволочь этакая! — хотел его обделить и однажды рукам было волю дал, а он, подмастерье, слова не говоря, только кузнечный молот поднял и так поглядел на живодера старого, что тот, поджавши хвост, убрался восвояси — жизнь ему, стало быть, дорога была. Трус оказался — потом еще бумажку ему прислал, что, мол, уволен он.

Затем речь пошла о великом сражении в Оффенбурге, где трое слесарей, и он в их числе, семерых фабричных чуть до смерти не убили. Вот если кто попадет в Оффенбург пусть спросит длинного Порша — он по сей день там, а тогда ох и здорова бился!

---

[10] Примечания: 10

Повествование, оживает что-то от бессмертного Уленшпигеля и от столь же бессмертного братца Штраубингера.

Все это преподносилось в грубовато спокойных тонах, но с большим внутренним жаром и явным удовольствием. Слушали его с радостью, и каждый про себя решал рассказать эту же историю, но, разумеется, уже в другом месте и другим приятелям. Ведь каждый слесарь когда-нибудь да называл дочку мастера своей милой, непременно бросался на изверга-хозяина с молотом и до полусмерти избивал семерых фабричных. То это происходило в Баденском крае, то в Гессене или Швейцарии, иногда вместо молота фигурировал напильник или раскаленная докрасна штанга, а вместо фабричных в оборот брались пекари или портные, однако сами истории, хоть и стары как мир, слушателям всегда по душе, ибо они хороши и славят цех. Этим я отнюдь не хочу сказать, что ныне-де, перевелись странствующие подмастерья, гораздые на гениальные приключения или на гениальные выдумки, а это по сути дела ведь одно и то же.

Самым страстным слушателем оказался Август — вот уж кому было весело! Непрестанно смеясь и поддакивая, он уже и сам чувствовал себя этаким лихим подмастерьем и с полупрезрительным выражением истинного сибарита на лице выпускал струйки табачного дыма в золотистый воздух

Рассказчик же продолжал разыгрывать свою роль — ему важно было выставить свое участие в этой компании как некую добродушную снисходительность — ведь вообще-то подмастерью не к лицу в воскресенье болтаться с учениками и, по правде говоря, следовало бы постыдиться пропивать с ними первую получку мальчишки.

Тем временем приятели прошли уже порядочное рас стояние по большой дороге, петляющей вдоль реки, и им теперь надо было выбирать между поднимающимся в гору трактом, что означало бы немалый крюк, и крутой тропинкой по меньшей мере в два раза укорачивающей путь. Решили идти по дороге, хоть и была она более длинной и к тому же пыльной. Тропинка — она ведь для будней или для прогуливающихся господ, народ же, особенно по воскресеньям, любит пройтись по большой дороге, ибо поэзия ее им еще не утрачена. Взбираться по крутым тропинкам — дело земледельца, спешащего в поле, или горожанина — любителя природы, это уже или труд, или спорт, но никак не удовольствие для народа.

То ли дело широкий тракт — тут шагаешь не спеша, переговариваешься, тут и обувь не собьешь, и костюм воскресный сбережешь, погля-

дишь на проезжающую телегу, лошадь оценишь, других гуляк встретишь иль обгонишь, а то и разряженных девчат в сопровождении горланящих песни парней, а бросят тебе вслед шутку — не зевай, за словом в карман некогда лазить! Здесь недурно и остановиться поболтать, а то и погоняться за визжащими девчатами, посмеяться над ними. Или вечерком всей ватагой словом и делом свести счеты с давнишним недругом. И точно так же как не найти средь подмастерьев, такого дурака, который променял бы веселый, удобный и столь богатый впечатлениями тракт на тропинку, так не найти и обывателя-горожанина, который бы отдал ей предпочтение.

Итак, решили идти по тракту, который! спокойно, как бы приглашая ступить на него, поднимался большим изгибом в гору, точно человек, имеющий вдоволь досуга и не любящий напрасно потеть. Подмастерье снял куртку и, повесив ее на палку, перекинул через плечо. Рассказ свой он уже окончил и теперь насвистывал, да так весело и задорно, что никто и не заметил, как пролетел час и показался Билах. Дорогой над Гансом не раз принимались подтрунивать, что, однако, мало задевало его. Зато Август парировал наскоки на своего товарища куда горячей, нежели он сам.

Село Билах лежало перед ними — его красные черепичные и, серебристо-серые соломенные крыши утопали в уже по-осеннему окрашенных садах. Позади поднимался черный лес.

В какой именно трактир им зайти — приятели никак не могли решить. «Якорь, славился пивом, зато «Лебедь» — пирогами, а «Не проходи мимо» — хорошенькой дочкой хозяина. В конце концов восторжествовало мнение Августа, тот заявил, подмигивая, что дочка трактирщика никуда от них не убежит июни спокойно могут сперва выпить кружку-другую в «Якоре». На том и порешили и двинулись дальше мимо скотных дворов, мимо крошечных домишек с геранью на низких подоконниках, держа путь прямо на «Якорь, позолоченная вывеска которого, сверкая на солнце поверх двух круглых молодых каштанов, так и манила посетителей». К досаде подмастерья, желавшего непременно расположиться в самом трактире, там было уже переполнено, и пришлось удовольствоваться столиком в саду.

Среди посетителей «Якорь, слыл шикарным трактиром, не в пример старым деревенским заезжим дворам. Это был кирпичный куб с чересчур большим количеством окон и невероятным

числом ярких реклам. В зале вместо скамеек стояли стулья, кельнерша была одета по-городскому, и хозяин никогда не выходил к гостям в одной жилетке, а непременно в коричневой паре, скроенной по последней моде.

На самом-то деле он давно уже обанкротился и теперь арендовал собственное заведение у главного своего кредитора — крупного пивовара, но с тех пор еще больше заважничал. Весь сад состоял из чахлой акации да высокой проволочной ограды, лишь наполовину заросшей диким виноградом.

— Будем здоровы! — провозгласил подмастерье, чокаясь одновременна со всеми, и, чтобы доказать свою лихость, вылил кружку залпом. — Эй, красавица, что это вы мне пустую поднесли? А ну-ка, живей еще одну — крикнул он кельнерше, протянув ей через стол свою пустую кружку.

Пиво оказалось отличное — прохладное и не слишком горькое, и Ганс с удовольствием его потягивал. Август цедил пиво с видом знатока, причмокивал языком и од, повременно дымил сигарой, словно испорченная печь, чему Ганс не переставал удивляться.

А ведь совсем недурно провести веселое воскресеньице за столиком в трактире, к тому же вполне

заслуженно. Посидишь с приятелями, знающими толк в жизни и умеющими повеселиться, от души посмеешься, иногда и сам отважишься на шутку и, хлопнув пустой кружкой об стол, беззаботно крикнешь: «Эй, барышня, налейте-ка еще!» При этом чувствуешь себя, настоящим мужчиной. Сдвинув шляпу на затылок, небрежно свесив руку с недокуренной, сигарой, так приятно увидеть за соседним столиком знакомого и выпить за его здоровье.

Понемногу разошелся и чужой подмастерье и тоже принялся рассказывать. Он, видите ли знавал в Ульме слесаря, так тот мог двадцать кружек подряд выпить, да еще крепкого, ульмского, а выпив, утирал усы и говорил: «Теперь неплохо бы бутылочку винца раздавить!» В Канншатте он знавал истопника, который съел на пари зараз двенадцать кругов колбасы и выиграл. Только вот второе пари проиграл: взялся съесть все блюда, которые значились в меню, и почти все уже съел, но в конце пошли всякие сыры, и когда он уже добрался до третьего, то отодвинул тарелку и сказал: «Нет лучше уж помереть, чей еще один кусок этой дряни проглотить.

Его рассказы тоже встретили: общее одобрение, и вскоре выяснилось, что то тут, то там на

матушке-земле встречаются великие бражники и обжоры — каждый из собутыльников знавал такого молодца и мог похвастать его подвигами. У одного это был штутгартец, у другого драгун — должно быть из Людвигсбурга, один съел семнадцать большущих картофелин, другой одиннадцать огромных оладьев, да еще с салатом!

Обо всем этом рассказывалось вполне серьезно, с деловитой обстоятельностью, и не без удовлетворения каждый резюмировал про себя, сколько, мол, на свете превосходных талантов и занятных людей и какие чудаки иногда попадаются. Это удовлетворение и деловитая обстоятельность — достойнейшее наследственные качества всякого обывателя, любителя поговорить о политике в пивной, к ему-то и подражает молодежь как в выпивке и курении, так и в политиканстве, когда женится и когда умирает.

После третьей, кружки кто-то из приятелей вспомнил о пирогах, Подозвали кельнершу и тут же выяснили, что пироги уже кончились. Это вызвало Немалое волнение. Август немедленно вскочил, заявив, что раз нет пирогов, то следует всем вместе отправиться в соседнее заведение. Подмастерье ругался на чем свет стоит по адре-

су нерадивого хозяина, и только франкфуртец изъявил желание остаться — он уже успел перемигнуться с кельнершей и несколько раз весьма удачно ее погладил. Ганс наблюдал за ними, и это странно взволновало его, так что он рад был, когда решили покинуть «Якорь».

Быстро расплатившись, вся компания высыпала на улицу, Теперь-то Ганс почувствовал действие трех кружек пива. Его охватывала то приятная усталость, то буйная предприимчивость, какая-то тонкая пелена застилала глаза, и казалось, что все куда-то отодвинулось, приобрело какую-то призрачность, точно во сне. Он все время смеялся и, сдвинув шляпу еще больше на затылок, мнил себя этаким лихим гулякой. Франкфуртец снова принялся насвистывать свои воинственные марши, и Ганс старался шагать в такт.

В трактире «Не проходи мимо» было сравнительно тихо. Несколько крестьянских парней пили молодое вино. Пиво в розлив не подавали, а только в бутылках, и тут же перед каждым из приятелей поставили по одной. Чужой подмастерье, решив шикнуть, заказал яблочный пирог на всех. Ганс внезапно ощутил сильный голод, и съел несколько кусков! подряд. Так приятно было

сидеть на широкой скамье у стены в старинной, полутемной, выдержанной в коричневых «тонах зале! Старомодный буфет и огромных размеров печь тонули во мраке, в большой: клетке порхали, две синички, которым через прутья просунули ветку красной рябины.

К столику подошел сам хозяин и пожелал друзьям приятно отдохнуть. Прежде, чем снова завязалась беседа, прошло порядочно времени. Ганс отхлебнул крепкого бутылочного пива и теперь не без любопытства прикидывал, удастся ли ему осушить всю бутылку.

Франкфуртец опять безбожно расхвастался. На сей раз он расписывал праздники сбора винограда на Рейне, свои странствия, жизнь бродяг. Слушали его с удовольствием, и Ганс смеялся не переставая.

Вдруг он заметил, что с ним, происходит что-то неладное. Зала, столики, бутылки, стаканы, приятели — и все расплылось в какое-то бурое облако, и только когда он напрягал последние силы — все вновь становилось на свои места. Временами смех и выкрики нарастали, и тогда он тоже хохотал во все горло; или говорил несколько слов, но о чем тут же забывал. Если приятели чокались, Ганс тоже поднимал свой стакан, и спустя час он

с удивлением обнаружил, что бутылка его пуста.

— А ты здоров пить, — заметил Август. — Еще одну?

Ганс, смеясь, мотнул головой. Эту выпивку он представлял себе; куда страшней, и когда парень из Франкфурта затянул песню и все стали ему подтягивать, он тут же запел во всю мочь.

Тем временем зала наполнилась и, чтобы помочь: кельнерше обслуживать гостей, вышла дочка хозяина; высокая и ладно скроенная девушка с круглым, пышущим здоровьем лицом и спокойными карими глазами.

Как только она поставила новую бутылку перед Гансом, подмастерье, восседавший с ним рядом, отпустил по ее адресу целый набор изящнейших комплиментов, на которые она, впрочем «не обратила никакого внимания. И то ли потому, что она хотела показать ему свое пренебрежение, то ли потому, что ей приглянулось миловидное личико бывшего семинариста, она внимательно досмотрела на Ганса и, быстро погладив его по голове, снова отошла к буфету. Подмастерье, осушивший уже третью бутылку, увязался за ней, тщетно пытаясь втянуть ее в разговор. Равнодушно взглянув, на него, рослая девушка не удостоила его ответом и отвернулась. Возвратясь

к столику, парень побарабанил пальцами по бутылке и вдруг весело закричал:

— А ну, ребятки, давай веселись! Будем здоровы!

Все выпили. Затем он пустился рассказывать какую-то сальную историю. До Ганса доносился лишь смутный гул, и, когда он уже почти справился со второй бутылкой, ему стало трудно не только говорить, но и смеяться. Он пошел было поиграть с синичками, однако; после двух шагов у него закружилась голова; он чуть не упал и, осторожно ступая, возвратился на; свое; место.

Теперь его бесшабашное веселье с каждой минутой сникало все больше и больше. Он понимал, что опьянел, и ничего хорошего во всей этой затее уже не видел. Впереди ему смутно мерещились всякие ужасы — дорога домой, встреча с разгневанным отцом, а наутро опять мастерская. Вдобавок разболелась голова.

Остальные тоже изрядно нагрузились. В минуту прояснения Август пожелал расплатиться; и получил на свой талер: весьма скромную сдачу. Болтая и смеясь, приятели вышли на улицу, и сразу зажмурились, ослепленные ярким светом заката. Ганс едва держался на ногах и, чтобы не упасть, схватился за Августа. Тот потащил его

за собой. Подмастерье совсем размяк и грустно затянув: «Завтра, завтра снова в путь», — прослезился.

Направились было домой, но когда подошли к «Лебедю, подмастерье настоял на том, чтобы завернуть и туда. Уже в дверях Ганс вырвался из объятий друга.

— Мне домой пора!

— Нельзя же тебе одному идти! — рассмеялся подмастерье.

— Нет, не-ет, до-мой надо.

— Ты рюмку водчонки выпей, малыш. Сразу мозги прочистит, и для желудка хорошо. Ну, слышишь, что говорю?

Ганс почувствовал, как ему сунули в руку стаканчик. Расплескав половину, он с отвращением проглотил горькую жидкость, и сразу у него все так и обожгло внутри. Затем, спотыкаясь, он спустился с крыльца и, не помня как, очутился за околицей. Дома, заборы, сады — все кружилось перед глазами.

Он прилет на сырую траву под придорожной яблонькой. Какая-то мешанина отвратительных ощущений, мучительных страхов, обрывков мыслей не давала «ему уснуть: он представлялся себе грязным и Опозоренным. И в каком виде

он явится домой? Что скажет он отцу? И что будет с ним завтра? Он чувствовал себя совсем больным, несчастным, ему было невыносимо стыдно. Казалось, надо проспать целую вечность, чтобы прийти в себя. Голову и глаза ломило, и он не находил в себе сил, чтобы подняться и идти дальше.

И вдруг, словно запоздавшая мимолетная волна, на него снова нахлынула прежняя веселость. Он скривил лицо и запел:

Ах, мой милый Августин, Августин!
Августин, Августин!
Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

Не успел он кончить, как почувствовал глубокую внутреннюю боль: картины далекого прошлого, стыд, самобичевание мутным потокам захлестнули его. Громко застонав, он уткнулся лицом в траву.

Час спустя — начинало уже темнеть — он поднялся и неверными шагами стал спускаться с горы.

Дожидаясь сына за ужином, господин Гибенрат не скупился на проклятия. Когда же пробило девять, а Ганса все еще не было, он вытащил дав-

но забытую в семье розгу Должно быть, парень вообразил, что вышел из-под отцовской опеки! Пусть только явится — не поздоровится ему.

В десять господин Гибенрат запер входную дверь Если уж многоуважаемый сыночек желает шататься по ночам, то может поискать себе ночлега в другом месте.

И все же сон не шел к нему, злоба разрасталась, он час за часом ждал, не нажмет ли робкая рука скобу двери, не дернет ли звонок. Он уже хорошо представлял себе, как встретит сынка. Уж этому шалопаю он покажет где раки зимуют! Наверное, напился негодяй. Но он уж приведет его в чувство, разбойника этакого! Змееныша, калеку несчастного! Он ему руки-ноги обломает!

В конце концов сон смирил как его самого, так и его гнев.

А в это время Ганса, на голову которого; сыпалось столько проклятий, притихшего и уже похолодевшего, темные воды несли вниз по реке. Отвращение, стыд, мука — от всего этого он уже избавился, и на тщедушное тело, черневшее посреди потока, глядела своими синими очами холодная осенняя ночь. Темная вода играла возле его побелевших губ, растрепала волосы, разметала руки. Сейчас никто не видел его — разве

что пугливая водяная крыса, выбравшаяся перед рассветом на охоту, глянула на него своими хитрыми глазками и бесшумно проскользнула мимо. Никто так и не узнал, как он утонул. Быть может, сбившись с тропы, он поскользнулся и упал с крутого обрыва? Быть может, захотел напиться и потерял равновесие? А может быть, его приманила к себе прекрасная водная гладь? Он наклонился к воде, а ночь и бледная луна показались ему исполненными такого спокойствия и мира, что усталость и страх потянули его в тенета смерти…

На другой день тело его нашли и принесли домой. Перепуганному отцу пришлось убрать приготовленную розгу и распроститься с накопившимся гневом. Правда, он не плакал, и по внешнему его виду ничего нельзя было заметить. Однако следующую ночь он тоже не спал и через приотворенную дверь порой заглядывал к своему молчаливому сыну, лежавшему на чистой постели со своим благородным лбом и бледным умным лицом, как будто был он каким-то особенным и имел прирожденное право на иную судьбу, чем все остальные. На лбу и руках виднелись синевато-красные ссадины, прекрасное лицо будто дремало, глаза были прикрыты белыми

веками, а чуть разомкнувшиеся губы выражали удовлетворение и как бы тихо улыбались во сне. Казалось, мальчика надломили в самом расцвете, столкнули с радостного, светлого пути, и даже отец, согбенный усталостью и своим одиноким трауром, подпал под этот улыбчатый обман.

На похороны собралось много народу — и сочувствующие и просто зеваки. Ганс Гибенрат снова стал знаменитостью, им опять интересовался весь город, и снова директор и пастор приняли, участие в его судьбе. Все они явились в черных сюртуках и цилиндрах «которые надевали лишь в торжественных случаях, степенно шагали за катафалком, потом, перешептываясь, постояли немного у могилы. Преподаватель латыни имел какой-то особенно меланхоличный вид, и директор тихо сказал ему:

— Да, господин профессор, из мальчика мог бы выйти толк. Просто беда, что с лучшими из лучших нам чаще всего не везет.

Мастер Флайг остался у могилы подле отца и безутешно рыдавшей старой Анны.

— Тяжко, когда случается такое, господин, Гибенрат, — произнес он участливо. — Я ведь тоже любил малыша.

— Никогда мне этого не понять, — вздохнул

папаша Гибенрат. — Такой одаренный мальчик, и все шло так хорошо — и школа и экзамены, а потом — беда за бедой!

А мастер, указав на удаляющиеся через кладбищенские ворота сюртуки, тихо произнес:

— Вон шагают господа, они тоже помогли довести его до этого.

— Что? Что вы говорите? — встрепенулся господин Гибенрат, недоуменно вытаращив глаза. — Да что это вы?

— Успокойтесь, сосед. Я только учителей имел в виду.

— Почему? Как так?

— Да ничего, я так просто. А разве вы, да я разве мы-то с вами не прозевали малыша?

Над городком распростерлось синее небо, в долине сверкала река, горы, покрытые еловыми лесами так и манили вдаль своей синевой Сапожник грустно улыбнулся и взял господина Гибенрата под руку.

А тот, расставаясь с тишиной и каким-то болезненным обилием мыслей этого часа, нерешительно и застенчиво ступая, спускался вниз, туда, где протекала его столь заурядная жизнь.

Поделитесь своими мыслями и впечатлениями о книге

Наш дорогой читатель,

От всей души желаем вам доброго дня! Мы, издательство Aegitas, хотим выразить вам огромную благодарность за то, что вы выбрали именно нашу книгу. Мы искренне надеемся, что она стала для вас увлекательным путешествием и принесла новые знания или размышления. Ваше мнение — это самый ценный подарок для нас. Мы будем бесконечно рады, если вы найдете время, чтобы поделиться своими мыслями и чувствами, оставив отзыв или комментарий о книге. Ваши честные впечатления помогут нам лучше понять ваш опыт чтения и подскажут другим читателям, стоит ли им открыть для себя эту книгу. Мы ценим каждый ваш отклик! Спасибо за то, что вы с нами.

Чтобы оставить отзыв, выполните следующие простые действия:

1. Посетите интернет-магазин или платформу, на которой вы приобрели или прочитали книгу, например ЛитРес, МТС Строки, Google Books,

Amazon, или любой другой предпочитаемый вами книжный сервис.

2. Найдите страницу книги, введя в поиск название и имя автора.

3. Прокрутите вниз до раздела с отзывами, где вы найдёте возможность оставить свою оценку и комментарий.

Мы убедительно просим вас включить в свой отзыв или комментарии следующее:

— Ваше общее впечатление от книги, например, её сюжет, персонажи и стиль изложения.

— Конкретные элементы, которые нашли отклик у вас или удивили вас, возможно, любимый персонаж, запоминающаяся сцена или идея, заставляющая задуматься.

— Как книга повлияла на вас эмоционально, интеллектуально или творчески.

— Ваши рекомендации потенциальным читателям и тем, кому, по вашему мнению, книга может особенно понравиться.

— Любыми другими мыслями или инсайтами, которыми вы хотели бы поделиться, помня о том, что личные истории часто могут помочь читателям понять ваш отзыв.

Кроме того, мы рекомендуем вам поделиться

своим опытом с семьей, друзьями и другими любителями книг, передавая рекомендации из уст в уста или обсуждая их в социальных сетях, таких как Вконтакте, Facebook, X (Twitter) или Instagram. Делясь своими мыслями, вы можете создать положительный эффект, способствуя содержательному общению и вдохновляя других на то, чтобы отправиться в такое же литературное путешествие.

Помните, что ваши отзывы играют важную роль в поддержке авторов и издателей, помогая повысить осведомленность о книге и интерес к ней. Публикуя свой голос, вы вносите неоценимый вклад в литературное сообщество.

Ещё раз спасибо, что выбрали наше издание. Мы искренне ценим ваше время, поддержку и преданность делу.

Желаем вам ещё много приятных моментов от чтения!

С наилучшими пожеланиями,
издательство Aegitas